

ГОСПОЖА РЕМЮЗА



МЕМОАРЫ

Клара Ремюза

Мемуары госпожи Ремюза

Серия «Биографии и мемуары»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43097940

Мемуары госпожи Ремюза / [перев. О.И.Рудченко] ; [пред. П.Ремюза]:

Захаров; Москва; 2011

ISBN 978-5-8159-1066-9

Аннотация

Один из трех самых знаменитых (наряду с воспоминаниями госпожи де Сталь и герцогини Абрантес) *женских* мемуаров о Наполеоне принадлежит перу фрейлины императрицы Жозефины. Мемуары госпожи Ремюза вышли в свет в конце семидесятых годов XIX века. Они сразу возбудили сильный интерес и выдержали целый ряд изданий. Этот интерес объясняется как незаурядным талантом автора, так и эпохой, которая изображается в мемуарах. Госпожа Ремюза была придворной дамой при дворе Жозефины, и мемуары посвящены периоду с 1802-го до 1808 года, т. е. охватывают последние годы Консульства и первые годы Империи. Госпожа Ремюза отличалась способностью к тонкому психологическому анализу, и читатель найдет в ее мемуарах целый ряд блестящих характеристик.

Содержание

Предисловие внука	5
Вступительные характеристики	63
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Мемуары госпожи Ремюза

МЕМУАРЫ ГОСПОЖИ РЕМЮЗА

(1802–1808 гг.),

изданные с предисловием и примечаниями ее внуком Полем Ремюза.

Перевод с 24-го французского издания О.И.Рудченко

© «Захаров», 2011

Предисловие внука

I

Отец оставил мне мемуары моей бабушки, придворной дамы императрицы Жозефины, и поручил их напечатать. Он приписывал этому труду необыкновенное значение для истории первых лет текущего века. Постоянно мечтал он их напечатать, и постоянно ему мешали занятия, обязанности или сомнения. Но истинной причиной, почему пришлось отложить момент, когда публика могла бы познакомиться с этими драгоценными воспоминаниями об эпохе, еще такой близкой и так плохо известной, было именно то, что эта эпоха еще так близка к нам и значительное количество лиц еще живы. Хотя автора нельзя обвинить в сколько-нибудь систематическом недоброжелательстве, но мы встречаем абсолютную свободу мнений обо всем и обо всех. Мы обязаны по отношению к живым и даже к детям умерших уважением, с которым не всегда мирится история.

Но время шло, причины молчания уменьшались с годами. Кажется, около 1848 года отец мой решился напечатать эту рукопись, но вскоре наступила эпоха возвращения Империи и императора. Эта книга могла бы быть принята за

лесть по адресу сына королевы Гортензии¹, к которой, действительно, автор относится крайне бережно, или же за прямое оскорбление династии. Таким образом, обстоятельства придали бы характер полемики труду, имеющему характер объективной истории. Они могли бы превратить в политический акт простой рассказ выдающейся женщины, передающей с подъемом и искренностью то, как она представляла себе царствование и весь двор Наполеона, что она думала об особе императора. Во всяком случае, вероятно, книга подверглась бы преследованию, и ее издание было бы запрещено. Надо ли прибавить для тех, кто сочтет недостаточными эти деликатные причины, что отец мой только с величайшей осторожностью рисковал выставить перед публикой имена, которые были ему дороги. А между тем он охотно вверял свою политику, свои взгляды и саму личность обсуждению журналов и критики и сам жил в сфере самой широкой гласности. Но для лиц, дорогих ему, он боялся малейшей суровости, самого мелкого порицания. По отношению к матери он был крайне сдержан. Мать оставалась предметом страстной любви всей его жизни. Он приписывал ей и счастье первых лет своей юности, и все заслуги, все успехи своего существования. Он был связан с ней столько же по уму и сердцу, сколько и по сходству идей, а также узами сыновней любви. Ее мысли, воспоминание о ней, ее письма играли в его жизни

¹ Наполеон III (1808–1873) – сын Гортензии Богарне (королевы Голландии), император французов с 1852-го по 1870 год.

такую роль, от которой немногие подозревали, так как он редко говорил о ней, и именно потому, что всегда о ней думал и боялся встретить со стороны других недостаточное восхищение. Кому не знакома эта сильная страсть, которая навеки связывает нас с теми, кто более не существует, о ком вечно думаешь, о чьих советах и влиянии мечтаешь, чье присутствие чувствуешь ежедневно в дни обычные, как и в дни исключительные, во всех поступках — и личных, и общественных? Эта же страсть мешает говорить о них другим, даже самым близким друзьям, мешает слушать без страдания или беспокойства дорогое имя. Очень редко сладость похвалы по отношению к этому лицу, высказанная другом или посторонним, делает переносимым это глубокое волнение.

Если деликатная и естественная осторожность заставляет печатать эти мемуары только по истечении долгого времени, то не следует и слишком запаздывать. Лучше, если книга выйдет до того времени, когда не останется ровно ничего от рассказанных событий, пережитых впечатлений и свидетельств очевидцев. Для того чтобы точность или по крайней мере искренность не были оспариваемы, необходима проверка воспоминаний всякой семьи, и хорошо, если поколение, которое их читает, прямо происходит от того, которое изображено. Полезно, чтобы описанные времена не совсем бы еще превратились во времена исторические.

В данном случае так оно и есть, до известной степени, и великое имя Наполеона еще является предметом спора раз-

личных партий. Интересно прибавить новые данные к спорам, раздающимся вокруг великой тени. Хотя мемуары об императорской эпохе многочисленны, но в них никогда не говорилось подробно и независимо об интимной стороне придворной жизни, и для этого, конечно, были веские причины.

Чиновники или люди, стоявшие близко ко двору Бонапарта, не любили, даже когда он стал императором, говорить с полной искренностью о времени, которое провели с ним. Большинство из них, став легитимистами после Реставрации, были несколько унижены службой узурпатору, в особенности же ролью, которая могла быть облагорожена только наследственным величием того, кто ее давал. Их потомки иной раз сами были бы в затруднении опубликовать такие рукописи, если бы и получили их от авторов.

Вероятно, трудно найти издателя, который чувствовал бы себя в этом отношении свободнее, чем пишущий эти строки. Для меня гораздо важнее талант писателя и польза от его книги, чем разница во взглядах моей матери и ее потомков. Жизнь моего отца, его слава, его политические взгляды — все, что я получил как драгоценное наследие, избавляет меня от объяснений, как и по каким причинам я не разделяю всех идей автора этих мемуаров. Напротив, нетрудно было бы найти в этой книге первые следы либерализма, который одушевлял моих дедушку и бабушку в первые дни Реставрации и который так счастливо развился и преобразовался у

моего отца. Надо было быть почти либералом, чтобы в конце 18-го века не возненавидеть принцип политической свободы, именем которой столько людей называли множество преступлений.

Подобного беспристрастия, столь драгоценного и столь редкого у современников великого императора, мы не найдем даже в наши дни у тех, кто служит правителю, менее способному ослепить приближенных. Но такое чувство нетрудно проявлять в наши дни. Обстоятельства привели Францию к такому настроению умов, когда все можно принять, обо всем судить справедливо. Мы видели, как несколько раз менялось мнение о первых годах нашего века. Даже люди среднего возраста помнят время, когда легенда Империи была принята всеми, когда можно было безопасно восхищаться ею, когда дети верили в императора, великого и вместе с тем добродушного, напоминающего доброго Бога Беранже, который, впрочем, и делал героями своих од именно эти две личности. Самые серьезные враги деспотизма, те, кто позднее испытали преследования новой империи, совершенно спокойно возвращали останки Наполеона Великого, придавая античный характер вполне современной церемонии. Позднее даже у тех, кто не вносил страсти в политику, опыт Второй империи открыл глаза на Первую.

Разгром, который навлек Наполеон III на Францию в 1870 году², напомнил о том, что это роковое дело начал другой

² Имеются в виду Франко-Прусская война и Сентябрьская революция 1870 го-

император, и чуть ли не всеобщее проклятие срывалось с уст при имени Бонапарта, которое произносилось некогда с почтительным энтузиазмом. Так колеблется суд наций! Однако можно сказать, что суд Франции наших дней ближе к справедливому суду, чем в те времена, когда он опирался на стремление к покою или на боязнь свободы, а в лучшем случае – на страсть к военной славе. Но между этими двумя крайностями сколько было различных мнений, сколько было лет колебаний и упадка!

Я думаю, все признают, что автор этих мемуаров, явившись ко двору в дни своей молодости, не имела никаких предвзятых идей относительно проблем, которые волновали общество в те времена и теперь еще волнуют. Конечно, признают, что мнения писавшей эти мемуары сложились постепенно, как и мнения всей Франции, также еще очень молодой в те времена. Она была пленена и опьянена гением, потом постепенно овладела собой при свете совершившихся событий или благодаря знакомству с известными лицами и типами.

Многие из наших современников найдут в этих мемуарах объяснение поведения или настроения умов некоторых из своих близких, в которых необъяснимой казалась смена бонапартизма либерализмом.

Беглый обзор жизни моей бабушки или, по крайней мере, тех времен, которые предшествовали ее появлению при дво-

ре, необходим для того, чтобы хорошо понять впечатления и воспоминания, которые она с собой принесла.

Отец мой часто составлял план и даже приготовил некоторые части полного жизнеописания своих родителей. Он не оставил ничего законченного по этому вопросу, но сохранилось большое количество заметок и отрывков, написанных им самим или его близкими, касающихся взглядов его юности и лиц, которых он знал. Все это облегчает мне задачу, и я могу теперь точно рассказать историю молодости моей бабушки, – описать те чувства, с которыми она явилась ко двору, и те обстоятельства, которые побудили ее написать эти мемуары. Это же дает возможность прибавить сюда некоторые суждения о ней ее сына, они заставят понять и полюбить ее. Отец мой очень желал, чтобы читатель испытал это чувство, и действительно трудно не полюбить ее, читая эти воспоминания.

II

Клара Елизавета Жанна Гравье Вержен, родившаяся 5 января 1780 года, была дочерью Карла Гравье Вержена, который являлся советником бургундского парламента, докладчиком, затем комендантом Оша и, наконец, податным инспектором. Женился он на Аделаиде Франсуазе Батар, родившейся около 1760 года в семье родом из Гаскони, ветвь которой поселилась в Тулузе. Ее отец, Доминик Батар, был

членом парламента и умер старейшиной сословия. Его бюст находится в Капитолии в зале знаменитостей. Он принимал деятельное участие в реформах канцлера Мону.

Карл Гравье Вержен не носил никакого титула, так как принадлежал к судейскому дворянству. Это был человек, как говорят, ума посредственного, любящий развлекаться, но неразборчивый в удовольствиях, впрочем, рассудительный, – одним словом, хороший человек, принадлежащий к той школе администрации, во главе которой стояли Трюдэны.

Госпожа Вержен была женщиной более оригинальной, умной и доброй, о ней отец мой говорил часто. Еще ребенком он был близок с ней, как это случается между бабушкой и внуком. В своей собственной веселости, милой и покладистой, насмешливой, но добродушной, он находил некоторые ее черты, так же, как в голосе и в привычке запоминать арии, куплеты из водевилей и старые народные песни. Она была проникнута современными ей идеями: немного философии, но не доходящей до неверия, некоторое отдаление от двора и много уважения и привязанности к Людовику XVI. Ее живой и ясный ум, веселый и свободный, был хорошо развит, ее речи были пикантны и иногда, по обычаю века, слишком смелы. Тем не менее она дала двум своим дочерям, Кларе и Алисе, строгое и несколько замкнутое воспитание, так как мода требовала, чтобы дети мало видели своих родителей. Обе сестры занимались в дальней нетопленной комнате под

руководством гувернантки, совершенствуясь в легких, если можно так выразиться, искусствах: музыке, рисовании, танцах. Их редко водили в театр, иногда, впрочем, – в оперу, время от времени – на бал.

Вержен не предвидел и не желал революции. Однако он не слишком негодовал и не слишком испугался. И он сам, и его друзья составляли часть той буржуазии, которая достигала дворянства занятием общественных должностей, которая как бы казалась самой нацией, и он был вполне на месте среди избирателей 1789 года: его избрали начальником батальона национальной гвардии, и он стал членом коммунального совета. Лафайет, на внучке которого сорок лет спустя женился его внук и мой отец, и Ройе-Коллар, место которого во Французской академии этот внук занял, смотрели на него как на одного из своих. Нужно сказать, что взгляды Вержена совпали скорее со взглядами второго, чем первого.

Революция вскоре настигла его, однако он не имел никакой склонности эмигрировать. Его патриотизм, так же, как и привязанность к Людовику XVI, побуждал его остаться во Франции. И поэтому Вержен также не избежал участи, угрожавшей в 1793 году всем, кто занимал такое же положение и отличался такими же чувствами. Ложно обвиненный в эмиграции администрацией департамента Соны и Луары, которая наложила секвестр на его имущество, он был арестован в Париже на улице Св. Евстафия, где жил с 1788 года. Тот, кто арестовал его, имел приказ от Комитета общественной без-

опасности, касающийся только его отца, но схватил и сына — потому лишь, что тот жил с отцом. И оба замерли вместе на одном эшафоте 24 июля 1794 года, за три дня до падения Робеспьера.

Вержен, умирая, оставлял жену и двух дочерей в самом ужасном положении, одинокими и даже в стесненных материальных обстоятельствах, так как незадолго до этого продал свое имение в Бургундии, а сумма, полученная им, была конфискована. Он им оставил, однако, покровителя, не обладавшего могуществом, но имевшего самые добрые намерения и доброжелательное отношение. В первые дни революции Вержен познакомился с молодым человеком, семья которого некогда отличалась в среде торговцев и чиновников Марселя, благодаря чему дети начали служить в магистратуре и в армии, словом, среди привилегированных. Августен Лаврентий Ремюза родился в Валансоле, в Провансе, 28 августа 1762 года. По окончании блестящих занятий в Жюльи, древнем колледже конгрегации Оратории, который существует до сих пор близ Парижа, в двадцать лет он сделался генеральным адвокатом в Счетной палате и Государственной коллегии Прованса. Мой отец набросал портрет этого молодого человека и описал его прибытие в Париж и жизнь среди нового общества.

«Общество в Э, дворянском и парламентском городе, было довольно блестящее. Мой отец часто бывал в свете. Он обладал приятной внешностью, известной тонкостью ума, ве-

селостью, мягкими и вежливыми манерами, утонченной любезностью. Он достиг успеха, какого только может пожелать молодой человек: занимался профессией, которую любил, и в 1783 году женился на мадемуазель де Санн, дочери генерального прокурора. Но этот брак был непродолжителен, у них родилась дочь, которая, кажется, умерла тотчас же, вскоре за ней последовала мать.

Разразилась революция. Высшие суды были уничтожены. Выкуп должностей был для них важным делом, и для этого Счетная палата отправила в Париж депутацию. Отец мой был одним из делегатов. Он мне часто говорил, что тогда имел случай видеть Мирабо, депутата от Э, и, несмотря на свои предубеждения члена парламента, был очарован его немного торжественной вежливостью.

Никогда не рассказывал мне отец подробно, как он жил. Я не знаю также, какие обстоятельства привели его к моему дедушке Вержену. Одинокий и никому не известный в Париже, он без особых тревог провел там самые тяжелые годы революции. Общества в то время не существовало.

Тем более это знакомство было приятно и даже полезно моей бабушке (госпоже Вержен) среди волнений, а позднее и бедствий. Отец часто говорил, что дед не был человеком выдающимся, но он скоро сумел оценить мою бабушку, которая, со своей стороны, была к нему благосклонна. Бабушка была женщиной разумной, без иллюзий, без предрассудков, без увлечений; она относилась недоверчиво ко всяким пре-

увеличениям, ненавидела аффектацию, но любила серьезные достоинства и правдивые чувства, а проницательный ум, точный и насмешливый, предохранял ее от всего, что не было ни благоразумным, ни нравственным. Ее ум никогда не был жертвой сердца. Но так как она несколько страдала от невнимания мужа, который был ниже ее, то была склонна брать на себя решение и выбор в вопросе о браке.

Когда после смерти моего деда дворянам было декретом приказано покинуть Париж, она удалилась в Сен-Грасьен, что в долине Монморанси, с двумя дочерьми, Кларой и Алисой, и позволила моему отцу за собой последовать. Его присутствие было для них драгоценно. У отца было всегда ровное настроение, покладистый характер, он внимательно и заботливо относился к тем, кого любил. Он был склонен к тихой жизни и деревенскому уединению; его утонченный ум был источником удовольствия для общества, составленного из образованных лиц, где интересовались воспитанием.

Едва ли возможно допустить, что моя бабушка не предвидела заранее и не была согласна на все дальнейшее, даже предполагая, что тогда еще нельзя было ничего прочесть в сердце ее дочери. Но несомненно (и она говорит об этом во многих письмах), что, хоть мать моя была еще ребенком, ее рано созревший ум, восприимчивое сердце, живое воображение, наконец, одиночество, несчастье и сама близость, — все эти причины, вместе взятые, внушили ей по отношению к моему отцу живейший интерес, который с самого же нача-

ла получил характер экзальтированного и прочного чувства. Едва ли я встречал когда-нибудь женщину, у которой бы ярче, чем у моей матери, соединились воедино нравственная страсть и романическая чувствительность. Ее молодость протекала в счастливых условиях, которые привязали ее к долгу силой страсти и привели в конце концов к редкому и трогательному единению между душевным миром и волнениями сердца.

Невысокого роста, но хорошо сложенная, она была свежа и полна; боялись, как бы она не получила склонности к излишней полноте. Глаза ее были прекрасны и выразительны, черного цвета, как и ее волосы; черты лица правильны, но несколько крупны. Лицо ее было серьезно, почти строго, хотя взгляд, полный тонкой мягкости, значительно умерял эту строгость. Ее ум, прямой и отзывчивый, даже творческий, отличался некоторыми мужскими свойствами, которые часто вступали в спор с необыкновенной живостью ее воображения. У нее были правильные суждения, наблюдательность, много искренности в манерах и даже в выражениях, хотя она не чужда была известной утонченности понятий.

Моя мать была, по существу, женщиной благоразумной, но с горячей головой. Ее ум был благоразумней ее самой. В молодости ей недоставало веселости и непринужденности. Она могла казаться педанткой, потому что была серьезна, аффектированной – потому что была молчалива, рассеянна и равнодушна к мелочам текущей жизни. Но с матерью, ко-

торию она несколько стесняла в ее веселости, и с мужем, при его простом вкусе и покладистом уме (которых она никогда не тревожила), она бывала и оживлена и откровенна. С годами в ней развился известный род веселости. В молодости она была несколько самоуглубленной, но постепенно стала больше походить на мать. Я часто думал, что если бы она прожила достаточно, чтобы оказаться в атмосфере, в какой я теперь живу, то была бы самой веселой из всех нас».

Отец мой написал эту заметку в 1857 году в Лафите (в Верхней Гаронне), когда все, кого он любил, были с ним, счастливые и довольные. Впрочем, эта цитата относится к более позднему времени, так как в ней он говорит о матери как о женщине, а не как о молодой девушке, а Клара Вержен была еще очень молоденькой, когда вышла замуж в начале 1796 года: ей едва исполнилось шестнадцать лет.

Господин и госпожа Ремюза жили временами в Париже, временами в Сен-Грасьене, в очень скромном деревенском доме. Его окрестности были весьма привлекательны благодаря красоте места и прелести соседства. Самыми близкими и милыми из соседей были владельцы Саннуа, с которыми госпожа Вержен была очень близка.

«Исповедь» Жан-Жака Руссо, «Мемуары» госпожи д'Эпине и множество произведений прошлого века познакомили публику с этими местами и их жителями.

Между обитателями Саннуа и Сен-Грасьена вскоре установилась полная близость, и, когда мои дедушка и бабушка

продали свое имение, они приискали дом еще ближе к друзьям, и их сады сообщались посредством особого входа.

Однако все чаще и чаще Ремюза бывал в Париже и, так как времена становились более спокойными, мечтал выйти из неизвестности и – зачем скрывать? – из стесненного положения, в которое жена была поставлена конфискацией имущества Вержена, а муж – лишением места в магистратуре. Естественно было, как это всегда случается в нашей стране, подумать о получении общественной должности. Не имея никакого отношения ни к правительству, ни к Талейрану, который был тогда министром иностранных дел, Ремюза пристроился к этому департаменту. Он получил не определенное место, но занятие, дававшее возможность получить должность в министерстве.

Кроме отношений, очень приятных и чисто интеллектуальных, с обитателями Саннуа, жители Сен-Грасьена завязали отношения менее близкие, но оказавшие в будущем большое влияние на их судьбу, – с госпожой Богарне, сделавшейся, как известно, в 1796 году госпожой Бонапарт. Когда эта последняя стала могущественной, благодаря всемогуществу ее мужа, госпожа Вержен попросила у нее покровительства для своего зятя, который желал получить место в Государственном совете или в администрации. Но у Первого консула и его жены были другие планы: известность, которой пользовалась госпожа Вержен, ее общественное положение, ее имя, принадлежавшее старому порядку и идеям нового

времени, придавали определенную цену связи консульского дворца с ее семьей. Двор в то время имел мало отношения к парижскому обществу, и вот вдруг, в 1803 году, Ремюза был назначен префектом дворца. Немного позднее госпожа Ремюза начинает сопровождать госпожу Бонапарт и вскоре становится придворной дамой.

III

Взгляды четы Ремюза не требовали от них никакой жертвы, чтобы примкнуть к новому режиму. У них не было ни экзальтированных чувств роялистов, ни республиканской суровости. Конечно, они стояли ближе к первому взгляду, чем ко второму, но их роялизм ограничивался уважением, полным благоговения, по отношению к Людовику XVI. Несчастья, пережитые этим королем, делали воспоминание о нем трогательным и священным, и его особа в семье Вержен была предметом особенного почтения.

Но тогда еще не был изобретен легитимизм, и те, кто особенно горячо оплакивали падение старого порядка, или, вернее, старой династии, не считали нужным думать, что все происходящее во Франции без Бурбонов не имело никакого значения. Безоблачное восхищение окружало молодого генерала, покрытого славой. Он блестяще восстанавливал если не нравственный, то материальный порядок в обществе, волнения которого носили совершенно иной характер, чем

это было позднее, когда явилось столько недостойных спасителей. Впрочем, чиновники сохранили воззрение, что должностное лицо ответственно только за то, что оно делает, но не за происхождение или действия правительства, – воззрение, впрочем, вполне естественное при старом порядке. Чувства солидарности в абсолютных монархиях не существует. К счастью, парламентарный режим сделал нас более деликатными, и честные люди признают, что коллективная ответственность существует между всеми агентами власти. Можно служить только тому правительству, направление и общую политику которого признаешь правильными. В те времена было не так; и вот как объяснял это мой отец, имевший больше права, чем кто бы то ни было, быть строгим в этом отношении. Он, может быть, своей утонченной политической деликатностью был обязан тому трудному положению, в котором видел своих родителей в детстве, когда сталкивались их чувства и их официальные обязанности. И вот, повторяю, как объяснил он это в письме к Сент-Бёву, которому хотел сообщить некоторые биографические подробности для статьи в «Обзрении Старого и Нового Света»:

«Родители мои привязались к новому режиму не вследствие выбора наименьшего зла, не по необходимости или слабости, не по искушению или по случайности. Свободно и доверчиво связали они с ним свою судьбу. Если добавить к этому все удобства, доставляемые легким и видным положением, вместо стесненного положения и неизвестности,

интерес и удовольствия, какие представлял этот двор нового сорта, наконец, несравненный интерес созерцать такого человека, как император, в эпоху, когда он был вполне безупречен, молод и приветлив, — вы легко поймете то, что привлекало моих родителей и заставляло их забыть, насколько новое положение могло, по существу, мало соответствовать их вкусам, взглядам и даже истинным интересам. Через два-три года они хорошо поняли, что всякий двор есть всегда двор и не всегда приятно лично служить абсолютному господину, даже тогда, когда он нравится и ослепляет. Но это не помешало им быть весьма долгое время довольными своей судьбой. Особенно мать мою очень забавляло все, что она видела; у нее были очень нежные отношения с императрицей, которая была необычайно добра и мила; она увлекалась императором, который при этом ее отличал: она была, пожалуй, единственная женщина, с которой он беседовал. В конце Империи мать моя говорила иногда: «Я слишком любила его для того, чтобы не начать ненавидеть»».

Впечатления, которые получила новая придворная дама при новом дворе, не дошли до нас. В то время сильно не доверяли почте; госпожа Вержен сжигала все письма дочери, и ее переписка с мужем начинается несколькими годами позднее, во время путешествия императора по Италии и Германии. Однако из этих мемуаров, не изобилующих личными чертами, видно, как все было ново и любопытно для очень молодой женщины, вдруг перенесенной в этот дворец и сто-

ящей так близко к интимной жизни прославленного главы неизвестного правительства. Она была серьезна, как это бывает в юности, когда женщина не легкомысленна, а склонна много наблюдать и много думать. По-видимому, у нее не было никакого самолюбия в том, что касалось внешней жизни, никакой склонности к осуждению, никакого желания блистать или говорить. Что думали о ней в то время? Мы этого совсем не знаем, хотя в некоторых местах писем или мемуаров есть доказательства, что ее находили умной и слегка ее побаивались. Возможно, однако, что ее друзья или подруги находили ее скорее педантичной, чем опасной.

Госпоже Ремюза все удавалось, особенно в первое время. Двор был немногочислен; невозможно было добиться почти никаких отличий или милостей, мало было соперничества. Но мало-помалу это общество сделалось настоящим двором. Кроме того, придворные боятся ума, особенно стремления умных людей бескорыстно интересоваться окружающим, судить о людях, не стараясь найти полезного применения этой науке. Они склонны всегда подозревать скрытую ото всех взоров цель. Выдающиеся личности бывают живо охвачены зрелищем человеческих событий, даже если они хотят быть только зрителями. Они любят, как говорят недоброжелательно и неправильно, вмешиваться даже в то, что лично их не касается. Эта способность менее всего понятна тем, кто ее лишен и относит ее к известным задним мыслям, известным личным расчетам. Все люди подвергаются подобным подо-

зрениям, но особенно опасны они по отношению к женщине, одаренной несколько болезненным воображением, способной чувствовать живой интерес к делам, ее не касающимся. Многие, особенно в том, несколько грубоватом обществе, должны были найти претенциозность и самолюбие в ее разговорах и в самой жизни, а порой и обвинить ее несправедливо в честолюбии.

Но муж ее должен был казаться совершенно непричастным ни к интригам, ни к честолюбию. Положение, которое создавала ему благосклонность Первого консула, не соответствовало его желаниям: он бы, конечно, предпочел какую-нибудь административную должность, связанную с известным трудом. Здесь же он находил применение только своей обходительности и мягкости. Судя по тому, каким он предстает перед нами в письмах, мемуарах и рассказах моего отца, мой дед отличался добродушием и тонкостью, здравым смыслом и ровным настроением — всем тем, что позволяло не создавать врагов. У него никогда их и не было бы, если б известная застенчивость, которая плохо мирится с приятностью разговора и отношений, любовь к покою и некоторая лень не склоняли бы его все более и более к уединению и отчуждению.

В нем присутствовали и скромность, и самолюбие, которые, не делая его нечувствительным к почестям достигнутого ранга, заставляли краснеть от торжественных пустяков, которыми ему приходилось заниматься в силу этого положе-

ния. Он думал, что заслуживает большего, и не любил добиваться того, что не приходило само собой. Он не любил выдвигаться вперед, а его равнодушие как раз подходило к его беспечности.

Позднее Ремюза стал трудолюбивым префектом, но как придворный он был нерадив и бездеятелен. Он употреблял свое умение жить только для того, чтобы избегать столкновений и исполнять свои обязанности со вкусом и должной мерой. Приобретя много друзей и много связей, он не заботился о том, чтобы их поддерживать. Если не прилагать стараний, связи рвутся, воспоминания сглаживаются, появляются соперники, и все возможности успеха ускользают. Повидимому, дед никогда и не жалел об этом. Я мог бы легко объяснить причины и изобразить в подробностях этот характер, его недостатки, его неприятности и даже перенесенные им страдания. Это был мой дедушка.

Первое жестокое испытание, которое ожидало господина и госпожу де Ремюза в их новом положении, было убийство герцога Энгиенского. Вдруг увидеть, как тот, которым все восхищались, которого старались полюбить как само воплощение власти и гения, покрыл себя невинной кровью, притом понять, что это было результатом холодного и бесчеловечного расчета, – все это должно было причинить глубокие страдания, о чем свидетельствует этот рассказ. Замечательно, что впечатление у честных придворных было даже сильнее, чем у людей со стороны. Кажется, к преступлениям та-

кого рода чувства общества уже несколько притупились. Даже у роялистов, враждебно относившихся к правительству, это событие вызвало больше огорчения, чем негодования, — так были извращены умы в области политической справедливости и государственной необходимости. Но откуда современники почерпнули бы правильные принципы? Разве могли их так воспитать террор или старый порядок? Немного времени спустя глава церкви приехал в Париж, и среди мотивов, которые заставляли его колебаться в короновании нового Карла Великого, едва ли этот мотив имел хоть какое-нибудь значение. Пресса была нема, а для того, чтобы негодовать, люди нуждаются хотя бы в том, чтобы их предупредили. Будем надеяться, что цивилизация совершила такой скачок, что возвращение подобных событий невозможно. То, что мы видели в наши дни, запрещает нам быть по этому вопросу слишком большими оптимистами.

Нижеследующие мемуары как раз изображают жизнь автора в это время и историю первых годов этого века. Из них будет видно, какое изменение внесло установление Империи в жизнь двора и насколько эта жизнь стала более трудной, как уменьшался престиж императора, по мере того как он злоупотреблял своими способностями, своими силами, своими успехами. Увеличивались неудовольствия, неудачи, неисполнения обязательств. Вместе с тем связь с первыми почитателями становится менее драгоценной, и перемена в мыслях влияет и на саму службу.

По своим естественным чувствам, по принадлежности к семье, по своим связям Ремюза, стоящие между двумя партиями, которые ссорились из-за милости господина, между Богарне и Бонапартами, считались принадлежащими к первым. Их положение оказалось в прямой связи с немилостью и отъездом императрицы Жозефины. И когда ее придворная дама последовала за ней в ее убежище, император, по-видимому, не старался ее удержать. Может быть, ему казалось удобным иметь около своей покинутой и несколько неосторожной супруги особу со здравым смыслом и умом; но вместе с тем и плохое здоровье моей бабушки, желание отдыха и нежелание веселья и блеска отдалили ее от придворной жизни.

Ее муж, разочарованный, недовольный, с каждым днем все более и более поддавался своему настроению, своему нежеланию показываться и искать расположения около холодного и чуждого величия. Особенно охладел он к своим обязанностям камергера, чтобы замкнуться в административных обязанностях по делам театра, которые он исполнял необыкновенно удачно. Значительная часть современных установлений французского театра обязана ему своим происхождением.

Мой отец, родившийся в 1797 году, еще, конечно, очень юный, когда его отец был камергером, но любознательный, с рано пробудившимся умом, имел очень точное воспоминание об этих временах недовольства и разочарования. Он

рассказывал мне, что часто видел отца, возвращавшегося из Сен-Клу в угнетенном настроении, подавленного той тяжестью, которая давила всех, кто приближался к этому могущественному императору. Жалобы отца раздавались в присутствии ребенка в те минуты, когда проявлялась его искренность. Овладев собой, в другие дни он старался казаться довольным своим господином и своей службой и не посвящал сына в свои огорчения. Быть может, он был скорее создан для того, чтобы служить Бонапарту – простому, веселому, скромному, умному, для которого были еще новы удовольствия власти, чем Наполеону – с притупившимися чувствами, опьяненному, внесшему дурной вкус в придворную обстановку и день ото дня все более требовательному в церемониале и льстивых проявлениях.

Обстоятельство, по-видимому, ничтожное, важность которого не сразу поняли те, кто был заинтересован, увеличило затруднения этого положения и ускорило неизбежность развязки. Хотя эта история несколько пуста, ее прочтут не без интереса; она лучше осветит это время, к счастью, далекое от нас, которое не возродится, если у французов есть какая-нибудь память.

Знаменитый Лавуазье был в близких отношениях с Верженом. Он умер, как известно, на эшафоте 8 мая 1794 года. Его вдова, вышедшая вторично замуж за Румфорда (ученого или, по крайней мере, практика, связанного с наукой, изобретателя каминов, по системе прусских, и термометра, нося-

щего его имя), сохранила самое теплое отношение к госпоже Вержен и ее детям. Этот вторичный брак не был счастливым, и общественные симпатии совершенно справедливо оставались на стороне жены. Ей пришлось прибегнуть к власти, чтобы избавиться от тирании и требований, по меньшей мере невыносимых. Румфорд был иностранцем, и полиция могла собрать о нем сведения на родине, обратиться к нему со строгими требованиями, даже заставить его покинуть Францию. Кажется, это и было сделано. Талейран и Фуше взяли за это по просьбе моей бабушки. Госпожа Румфорд хотела поблагодарить их, и вот как рассказывает мой отец о результатах этой благодарности.

«Мать моя согласилась устроить для госпожи Румфорд обед и пригласить на него Талейрана и Фуше. Иметь за одним столом обер-камергера и министра полиции не является актом оппозиционным. Но именно эта встреча, вполне естественная, вполне незначительная по своим мотивам, но которая, признаюсь, была необычна и не возобновилась более, была представлена императору в донесениях в Испанию как политическое совещание и доказательство важного соглашения. Я не сочту невозможным, что Талейран и Фуше согласились с особенной поспешностью, которой могло бы и не быть в иное время, что они воспользовались случаем передоверить, что даже мать моя, зная почетное положение этих двух лиц, считала случай подходящим, чтобы устроить свидание, которое ее интересовало и было вместе с тем полез-

но ее другу. Но у меня нет никаких причин думать именно так. Напротив, я отлично помню слова отца и матери о том, что этот случай – ясный пример того, как иногда получает неограниченное значение незначительный и мимолетный сам по себе факт; они говорили, улыбаясь, что госпожа Румфорд и не подозревала, чего она им стоила.

Они прибавляли, что по этому поводу или с ненавистью, или с насмешкой произносилось слово «триумвировать», и мать моя говорила госпоже Румфорд, смеясь: «Друг мой, мне очень жаль, но ваша роль не могла быть иной, чем Лепида³». Отец мой говорил также, что некоторые придворные, не относящиеся к нему дурно, говорили ему об этом как о факте положительном и без враждебного чувства: «Ну, наконец, теперь, когда все это в прошлом, скажите, что это было и что вы затевали?»».

Этот рассказ является примером придворных сплетен и показывает близость моих деда и бабушки с Талейраном. Хотя бывший епископ Отёна, по-видимому, не вносил в эту близость характера заинтересованности, которая была ему обыкновенно свойственна по отношению к женщинам, но ему очень нравилась та, мемуары которой я печатаю, он даже восхищался ей. Я нахожу довольно пикантное доказательство этому в характеристике, которую он набросал на официальной бумаге Сената, бездельничая во время одного из

³ Лепид, римский политический деятель (около 89–13/12 гг. до н. э.). В 43 году вместе с Октавианом и Антонием образовал Второй триумвират.

заседаний, когда происходил подсчет голосов (вероятно, в 1811 году).

«Люксембург, 22 апреля.

Мне хочется начать портрет Клари. Клари – не то, что называют обыкновенно красавицей, но все согласны, что она женщина привлекательная. Ей двадцать девять или двадцать восемь лет; она именно такова, какой можно быть в двадцать восемь. Ее фигура хороша, походка проста и грациозна. Клари не худощава, она лишь настолько слаба, насколько это нужно, чтобы быть изящной. Цвет лица ее не ослепителен, но у нее особенная способность казаться тем белее, чем лучше она освещена. Может быть, это полное изображение всей Клари, которая кажется тем лучше и милее, чем лучше ее знаешь.

У Клари большие черные глаза; длинные веки придают ей какое-то соединение нежности и живости, которое чувствуется даже тогда, когда душа ее отдыхает и не желает ничего выражать. Но эти моменты редки. Много мыслей, живое восприятие, подвижное воображение, утонченная чувствительность, постоянное доброжелательство выражаются в ее взгляде. Нужно было бы изобразить душу, которая сама в нем отражается, и тогда Клари была бы самой прекрасной женщиной, какую можно себе представить.

Я недостаточно тверд в правилах рисунка, чтобы утверждать, что черты лица Клари правильны. Мне кажется, что

нос ее слишком велик, но я знаю, что у нее прекрасные глаза, прекрасные губы, прекрасные зубы. Ее волосы обыкновенно покрывают значительную часть лба, и это жаль. Две ямочки, которые образуются от ее улыбки, делают ее столь же пикантной, как и нужной. Ее туалет часто недостаточно изыскан, но никогда он не бывает дурного вкуса и всегда очень чист. Эта чистота составляет часть системы порядка или приличия, от которой Клари никогда не отступает.

Клари небогата, но, умеренная во вкусах, стоящая выше фантазии, она презирует расточительность; если она замечала границы своего имущества, то лишь потому, что приходилось урезывать свою благотворительность. Однако, помимо искусства давать, у нее имеются и тысячи способов оказывать одолжения. Всегда готова она поддержать добрые поступки, извинить недостатки, весь ее ум направлен к благотворительности. Никто лучше Клари не может засвидетельствовать, насколько разумная благотворительность выше ума и таланта тех, кто действует только строгостью, критикой и насмешкой. Клари в своей обычной благожелательной манере судить изобретательнее и острее, чем может быть неблагожелательность в искусстве инсинуаций и умолчаний. Клари всегда оправдывает того, кого защищает, не оскорбляя никого, кому возражает. Ум Клари очень обширен и очень развит; я не знаю никого, кто бы лучше умел вести разговор. Когда она хочет казаться образованной, это означает доказательство доверия и дружбы.

Муж Клари знает, что ему принадлежит сокровище, и он умеет им пользоваться. Клари хорошая мать, это награда за ее жизнь...

Сеанс окончен. Продолжение – на выборах будущего года!»

Император с неудовольствием замечал эту близость между камергером и обер-камергером, и из этих мемуаров будет видно, что он не раз старался их разъединить. Довольно долго ему удавалось возбуждать в них недоверие друг к другу. Но близость была полной как раз в момент, когда Талейран впал в немилость. Известно, какие мотивы, почетные для этого последнего, вызвали между ним и его господином бурную сцену в январе 1809 года⁴, во время Испанской войны, которая стала началом бедствий для Империи и результатом ошибок императора. Талейран и Фуше выразили или, по крайней мере, дали почувствовать неодобрение и недоверие общества. «Во всей империи, – сказал Тьер, – ненависть начинала заменять любовь»⁵. Эта перемена происходила в умах чиновников так же, как и в умах граждан.

Впрочем, член Законодательного корпуса Монтескье, который получил после Талейрана его место при дворе, был ли-

⁴ Речь идет о знаменитой сцене во дворце, 28 января 1809 года, когда император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана, обвиняя его в лицемерии и предательстве.

⁵ Тьер А. «История Консульства и Империи».

цом менее значительным; но Талейран оставил первому камергеру все, что было в его обязанностях тяжелого, но и приятного и почетного. Для Вержена было, конечно, ударом потерять начальника, большое значение которого отражалось и на подчиненных.

В самом деле, это было странное время! Тот же Талейран, впавший в немилость как министр и носитель видной придворной должности, не потерял, однако, доверия императора. Наполеон внезапно призывал его к себе, искренно сообщая ему тайну вопроса или обстоятельства, по поводу которых желал получить его совет. Эти совещания возобновлялись до самого конца, даже в те времена, когда он поговаривал о том, чтобы отправить Талейрана в Венсенн. В оплату за это Талейран, входя в его интересы, давал ему самые доброжелательные советы, и все происходило так, как будто между ними ничего не случалось.

Политика и величие положения давали Талейрану привилегии и утешение, которых не могли иметь ни камергер, ни придворная дама. Связывая свою судьбу так тесно с абсолютной властью, обыкновенно не предвидят, что наступит день, когда чувства вступят в борьбу с интересами, обязательства — с обязанностями. Забывают, что существуют принципы управления, которые должны опираться на конституционные гарантии; уступают естественному желанию быть чем-то в государстве, служить установившейся власти; тогда не вглядываются в природу или условия этой власти.

Но наступает момент, когда, не требуя ничего нового, эта абсолютная власть доходит до такого сумасбродства, жестокости и несправедливости, что ей трудно служить даже в самых невинных видах, а между тем ей необходимо повиноваться, сохраняя в душе негодование, страдание, а вскоре, быть может, и желание ее падения.

Скажут, что существует очень простой выход: выйти в отставку. Но тогда является опасение удивить, скандализировать, быть непонятым или осужденным общественным мнением. Притом, никакая солидарность не связывает служителя государства с поведением главы государства. Так как не имеешь прав, то кажется, будто нет и обязанностей. Ничему нельзя помешать, поэтому кажется, что и нечего искупать. Так думали в правление Людовика XIV и так думают в большей части Европы; так думали при Наполеоне, так, может быть, будут опять думать... Стыд и позор абсолютной власти! Она уничтожает истинные сомнения и истинные обязанности у людей честных.

IV

В переписке господина и госпожи Ремюза можно найти, по крайней мере в зародыше, часть этих чувств, и все способствовало тому, чтобы их глаза открылись. Личные встречи с императором становились все более и более редкими, и его очарование, еще могущественное, все меньше и меньше

ослабляло впечатление от его политики. Развод императора также возвратил госпоже Ремюза известную долю свободы, как во времени, так и в суждениях. Она последовала за императрицей Жозефиной по ее удалении, а это не могло повысить ее влияние при дворе. Муж ее также вскоре покинул одну из своих обязанностей, а именно – придворного, заведующего дворцовым гардеробом. И холодность увеличилась. Я употребляю слово «холодность», так как в пасквилях, написанных против моего отца, утверждали, что его семья была серьезно замешана в каких-то дурных поступках, которыми император был очень раздражен. Ничего подобного не было, и лучшим доказательством этого служит то, что, перестав быть заведующим гардеробом, Ремюза остался камергером и начальником театров. Он покинул только самую незначительную и самую связывающую из своих должностей. Конечно, правда, что он терял таким образом доверие и близость, которые возникают при совместной жизни. Но и выигрывал тем, что становился свободнее, мог больше жить в обществе и в семье, и эта новая жизнь, менее замкнутая, чем в салонах Тюильри и Сен-Клу, дала мужу и жене больше независимости и беспристрастия в суждениях о политике их властелина. Им было легче, с помощью советов и предсказаний Талейрана, предвидеть падение Империи и избрать сознательно разрешение проблемы, поставленной событиями.

Нельзя было надеяться на то, что император удовлетворится миром, более унижительным для него, чем для Фран-

ции. Европа не была склонна оказать ему милость даже подобного унижения. Поэтому, естественно, помышляли о Бурбонах, несмотря на неудобства, в которых давали себе неясный отчет. Салоны Парижа были не роялистскими, но антиреволюционными. В то время еще не приходило в голову сделать Бонапартов главами консервативной и католической партий.

Конечно, надо было принять важное решение, чтобы возвратиться к Бурбонам, и к этому пришли не без отчаяния, беспокойств и всевозможных волнений. Отец мой сохранил тяжелое воспоминание о том зрелище, какое представляла в 1814 году его семья, в сущности, такая скромная, такая честная, такая простая; это впечатление он считал самым большим политическим уроком, и этот урок, так же, как и его собственные рассуждения, склонили его к простым положениям и к убеждениям, основанным на праве.

Вот, впрочем, как он сам описал чувства, какие видел вокруг себя во времена падения Империи:

«Чистая политика привела мою семью к Реставрации. Отец мой, среди других, казался мне в положении человека, подчиняющегося необходимости и добровольно принимающего все ее последствия. Было бы наивностью стремиться уничтожить эти последствия или совершенно их избежать; но можно было лучше бороться с ними или постараться их больше ослабить. Мать моя, немного более доступная сентиментализму по отношению к Бурбонам, больше давала

увлечь себя современному течению.

Во всяком крупном политическом движении есть что-то увлекающее, что направляет симпатии, за исключением тех случаев, когда от этого предохраняет партийная вражда. Эта бескорыстная симпатия, соединенная с любовью к аффектации, составляет значительную долю тех пошлостей, которые бесчестят все перемены правительств. Но эта же симпатия, однако, с самого начала боролась у моей матери со зрелищем преувеличений в чувствах, взглядах и словах... Эта унижительная сторона Реставрации, как и всякой реставрации, особенно неприятно меня поражает. Но если бы роялисты не злоупотребляли этим, им бы многое простили.

Удивительно, что в этом отношении переносили очень честные люди. Я знаю, что отец мой с первых дней довольно живо возражал одной особе, которая в нашем салоне отстаивала со всей резкостью чистую доктрину легитимизма. Однако приходилось принимать эту теорию, хотя в более политической форме. Само слово «легитимизм» утвердилось особенно, кажется, благодаря Талейрану⁶, а отсюда развернулась неизбежная вереница последствий».

Со стороны моего отца это было не только историческое

⁶ Легитимизм – политическая теория, выдвинутая Талейраном на Венском конгрессе в целях обоснования и защиты территориальных интересов Франции, которые состояли в сохранении границ, существовавших на 1 января 1792 года. По заявлению Талейрана, основной потребностью Европы было изгнание навсегда мысли о возможности приобретения прав одним завоеванием и восстановление священного принципа легитимности.

воззрение; с этих пор он начал, как ни был молод, думать самостоятельно и направлять, или по крайней мере освещать, взгляды своих родителей.

В этом коротком рассказе я не коснулся одной характерной и трогательной черты той, жизнь которой я описываю. Она была удивительной матерью, заботливой и нежной. Ее сын Шарль, родившийся 14 марта 1797 года, по-видимому, с самых первых дней подавал надежды (которые и оправдал) и внушал ей свои собственные вкусы, по мере того как становился старше и умнее. У нее был второй сын – Альберт, родившийся пять лет спустя и умерший в 1830 году, развитие и способности которого вскоре остановились. Он до конца оставался ребенком. Она относилась к нему с жалостью и постоянной заботливостью, которым приходится удивляться, даже у матери. Но истинная страсть была направлена на старшего, и нельзя представить себе, чтобы сыновняя или материнская привязанность была бы основана на большей аналогии между свойствами ума и способностью чувствовать. Ее письма полны выражения самой тонкой и самой разумной нежности.

Не лишним будет привести одно из писем, написанных ею сыну, которому было тогда шестнадцать лет.

Мне кажется, оно должно вызвать самое благоприятное отношение к ним обоим.

«Виши, 15 июля 1813 года.

Я страдала несколько дней от сильной болезни горла и очень скучала, дитя мое. Сегодня мне немного лучше, и мне хочется развлечься письмом к тебе. Ты бранишь меня за молчание и к тому же давно хвастаешься своими четырьмя письмами. Я не хочу больше оставаться в долгу перед тобой, и благодаря этому письму когда-нибудь и я смогу побранить тебя, если представится случай.

Дорогой друг мой, я шаг за шагом слежу за твоими занятиями и вижу, что ты очень занят в этом июле месяце, когда я веду такую монотонную жизнь. Я приблизительно знаю, что ты говоришь и делаешь по четвергам и воскресеньям.

Госпожа де Грасс рассказывает мне об этих беседах с тобой и очень меня этим развлекает. Например, она рассказала мне, что в прошлый раз ты говорил ей обо мне много хорошего и что, когда мы беседуем с тобой, ты порой склонен приписывать мне слишком много ума. Но, право, это опасение не должно тебя останавливать, так как у тебя, дитя мое, несомненно, не меньше ума, чем у меня. Я говорю это откровенно, потому что это преимущество обыкновенно нуждается в том, чтобы иметь опору во многом другом, и, говоря тебе это, я скорее тебя предостерегаю, чем хвалю. Если наш разговор с тобой бывает несколько серьезным, то припиши это моим обязанностям матери, которые я еще доканчиваю по отношению к тебе, и некоторым счастливым мыслям, которые я, как мне кажется, нахожу в своем уме и которые хотелось бы передать тебе. Когда мне покажется, что

я дошла до момента прекращения всяких предупреждений, тогда мы будем лучше говорить друг с другом для собственного удовольствия, обмениваясь мыслями и замечаниями о тех и других, и все это откровенно, не боясь поссориться, в условиях самой полной, искренней и взаимной дружбы. Я представляю себе, что такая дружба прекрасно может существовать между матерью и сыном. Между нами нет той разницы лет, которая мешала бы мне понимать твою молодость и разделять некоторые из твоих впечатлений. Головы женщин долго остаются молодыми, а в голове матери всегда найдется уголок, имеющий как будто возраст ее ребенка.

Госпожа де Грасс говорила мне также, что у тебя явилось желание во время этих каникул записывать свои впечатления по многим вопросам. Я нахожу, что ты прав; приятно будет перечесть это через несколько лет. Отец твой скажет, что я делаю тебя писакой, какой являюсь сама, так как он не стесняется в выражениях, но это мне безразлично. Мне кажется, что нет дурного в том, чтобы привыкнуть направлять свои мысли, писать исключительно для себя, и что вкус и стиль развиваются именно таким образом. Отец твой не что иное, как проклятый ленивец, который может написать только одно письмо в неделю... правда, оно очень мило, но это же мало... недостаточно! Пусть он не заставляет меня говорить.

В моем уединении у меня явилась фантазия написать твою характеристику, и, если бы у меня не болело горло, я бы попробовала. Но, чтобы не быть напыщенной и быть прав-

дивой, я должна была бы указать некоторые твои недостатки; однако то, что я должна была сказать о тебе, стало душиить меня, и это, вероятно, стало причиной жабы, так как я никак не могла извлечь эти слова наружу. В ожидании этой характеристики, разбивая тебя по всем пунктам, я нашла у тебя некоторые качества вполне развившиеся, иные – начинающие развиваться и затем – некоторые засорения, которые мешают иному хорошему свободно проявляться. Я извиняюсь за то, что пользуюсь этим медицинским стилем, но это потому, что я живу в стране, где только и говорят о засорениях и способах их излечить.

Я разовью все это перед тобой, когда буду в ударе, сегодня же ограничусь немногими пунктами. Вот что я вижу в тебе по отношению к другим. У тебя много вежливости, даже больше, чем обыкновенно бывает в твоём возрасте, много приветливости в обращении, в манерах, в способе слушать. Сохрани это. Госпожа де Севинье⁷ говорит, что одобрителное молчание всегда доказывает в юношестве много ума.

«Но, мама, куда же вы направляетесь? Вы обещали недостатки, а до сих пор я не вижу ничего подобного. Отец торопит тут же, рядом. Ну же, мама, к делу!» Сейчас, сын мой, я начинаю: ты забываешь, что у меня болит горло и я могу говорить только медленно. Наконец, ты вежлив. Если тебя приглашают воспользоваться случаем сделать приятное

⁷ Мари де Рабютэн-Шанталь, баронесса де Севинье (1626–1696) – французская писательница, автор знаменитых «Писем».

тем, кого ты любишь, ты охотно соглашаешься. Если тебе указывают этот случай, некоторая лень, некоторое самолюбие заставляют тебя немного поколебаться, и в конце концов ты сам не ищешь этого случая, потому что боишься поставить себя в неловкое положение. Понимаешь ли ты немного эти тонкости? Пока ты немного под моим влиянием, я тебя направлю, я с тобой говорю; но вскоре тебе придется говорить самому, и я хотела бы, чтобы ты говорил хоть немного о других, несмотря на то, что вы много шумите благодаря вашей молодости, которая действительно имеет право покричать немного погромче. Не знаю, ясно ли то, что я тебе говорю? Так как мои мысли проходят сквозь головную боль, сквозь три компресса, которыми я окружена, и так как я не изощряла своего ума с Альбертом в течение четырех дней, то, возможно, в моих беседах есть некоторая странность. Ты разберешься, как сумеешь. Факт, что ты очень вежлив по внешности; я бы желала, чтобы ты был вежлив и внутренне, т. е. доброжелателен. Доброжелательность есть вежливость сердца. Но довольно об этом...

Твой маленький брат хорошо выступает на балу. Он становится здесь совсем деревенским жителем. Удит утром, гуляет, лучше тебя знает деревья и различные культуры, а вечером танцует с толстыми пастушками Оверни, строя им милые гримаски, которые ты знаешь.

До свидания, дорогое дитя мое; я расстаюсь с тобой, так как кончается моя бумага, потому что я занималась всеми

этими пустяками, которые отвлекают меня несколько от скуки; но не следует убивать тебя, давая тебе их слишком много сразу».

Вот в таком тоне доверия, нежности и симпатии писали друг другу мать и сын, еще очень юный. Год спустя, в 1814 году, он окончил колледж и исполнил то, что обещал его юный возраст; тогда он занял, конечно, большее место в жизни и занятиях своих родителей. Даже его взгляды начали оказывать все большее и большее влияние на их воззрения, и это тем легче, что их не разделяло ничто абсолютное.

Он был только положительнее и смелее их, и его меньше связывали воспоминания и привязанности. Он не жалел об императоре и, хотя его трогали страдания французской армии, наблюдал падение Империи если не с радостью, то с безразличием. Это было для него, как и для других выдающихся молодых людей его поколения, освобождением.

Отец с жадностью схватывал первые идеи конституционного режима, который появился вместе с Бурбонами. Но салонные роялисты поражали его своей смешной стороной; многие вещи и иные слова, которые пользовались уважением, казались ему вздором; оскорбления по адресу императора и представителей Империи возмущали его; но ни он, ни его родители, несколько недоверчивые к новому режиму, не относились с систематическим недоброжелательством ко всему, что происходило. Бедствия или по крайней мере неприятности личного характера, которые следовали за

этим, не мешали им чувствовать себя освобожденными. А это были: потеря должностей, необходимость продать, и при этом очень неудачно, библиотеку, которая составляла радость моего дедушки и даже обратила на себя внимание любителей, и множество других неприятностей.

Они были готовы оправдать знаменитые слова императора. Он, в эпоху наибольшего могущества, спросил у лиц, его окружавших, что скажут о нем после его смерти. Каждый спешил сказать какой-нибудь комплимент, что-нибудь льстивое. Он прервал их, говоря: «Как, вы сомневаетесь в том, что скажут? Скажут: уф!»

V

Было трудно думать о личных интересах и не быть увлеченным зрелищем, которое представляли собой Франция и Европа. Именно такой интерес должен был преобладать над честолюбием в нашей семье, как я ее себе представляю. Однако дед мой думал о том, чтобы получить место в администрации и снова вернуться к своим проектам, по-прежнему обманчивым, о Государственном совете; но он относился к этому все так же небрежно или равнодушно. Если бы он вошел в состав совета, то стал бы только копией большинства прежних чиновников Империи, так как бонапартистская оппозиция появилась только к концу периода. Даже члены императорской семьи сохранили постоянные и дружеские от-

ношения с представителями нового режима, или, скорее, с реставрированным старым режимом. С императрицей Жозефиной обращались с уважением, а император Александр часто посещал ее в Мальмезоне. Ей хотелось создать себе достойное и приличное положение, и она открыла своей придворной даме, что хотела просить для Евгения титул коннетабля – что значило плохо понимать дух Реставрации. Королева Гортензия, которая позднее должна была сделаться заклятым врагом Бурбонов, получила герцогство Сен-Лё, за что хотела благодарить короля Людовика XVIII. Но императрица Жозефина была внезапно унесена гангренозным воспалением горла, и последняя связь, которая существовала между моей семьей и Бонапартами, была навсегда порвана.

Бурбоны как будто поставили своей задачей раздражать и обескураживать тех, кого должно было привлечь к себе их правительство, и мало-помалу устанавливалось мнение, что их царствование будет непродолжительно и Франция, тогда более страстно относившаяся к равенству, чем к свободе, захочет снова нести то иго, которое считалось свергнутым, и снова вернутся дни блеска и бедствий. Поэтому далеко не с тем удивлением, какое можно предположить, мой дедушка возвратился однажды домой, сообщая, что император, убежав с острова Эльба, высадился в Каннах. Исторические события обыкновенно больше удивляют тех, кто о них слышит, чем очевидцев.

Кажется, что какое-то предчувствие присоединяется ко

всем логическим выводам. Те особенно, кто видел вблизи этого великого человека, должны были считать его способным явиться, чтобы подвергнуть, вследствие эгоистической и грандиозной фантазии, новой опасности Францию и французов. Но это было великое предприятие, которое принуждало каждого думать не только о политическом будущем, но и о личном. Даже те, кто, подобно Ремюза, не выражали никаким публичным способом своих чувств и желали только покоя и неизвестности, могли всего бояться и должны были все предвидеть. Неизвестность продлилась недолго, и, прежде чем император вступил в Париж, Реаль объявил Ремюза, что его ссылают вместе с двенадцатью или пятнадцатью другими лицами, в числе которых был Паскье⁸.

Событие более важное, чем ссылка, которое оставило в памяти моего отца более глубокий след, произошло между сообщением о высадке Наполеона и его приездом в Тюильри. На другой же день после того, как об этой высадке стало известно, госпожа де Нансути прибежала к своей сестре Кларе, испуганная и взволнованная рассказами о преследованиях, которым будут подвергнуты враги императора, мстительного и всемогущего. Она сказала, что полицией будут применены инквизиционные методы, что Паскье беспокоится и что сле-

⁸ Этьен Дени Паскье, барон (1767–1862) – префект полиции во времена Империи, несколько раз министр (юстиции, иностранных дел) во времена Реставрации. «Его семья, его воспитание, его прошлые воззрения – всего этого было достаточно для того, чтобы человек, более склонный к подозрительности, чем Наполеон, не доверял ему» (из воспоминаний графа Лас-Каза).

дует освободиться от всего подозрительного в доме.

Бабушка моя, которая, может быть, сама бы об этом не подумала, разволновалась, вспомнив, что у нее найдут рукопись, которая может скомпрометировать ее мужа, сестру, зятя, друзей. Она писала в полной тайне в течение многих лет, почти со времени своего появления при дворе, мемуары, писала ежедневно, под впечатлением событий и разговоров. Она рассказывала в них почти все, что видела и слышала в Париже, в Сен-Клу, в Мальмезоне. В течение двенадцати лет у нее образовалась привычка писать дневник, где главную роль играли черты ее собственного ума и характера, вперемежку с событиями. Дневник состоял из ряда писем, написанных из дворца подруге, от которой ничего не скрывалось. Автор сознавала всю ценность этой работы, или, вернее, эти фиктивные письма напоминали ей всю ее жизнь, все самые дорогие и самые тяжелые воспоминания. Но как можно было рисковать ради того, что могло показаться только проявлением литературного или сентиментального самолюбия, спокойствием, свободой, даже, может быть, жизнью всех своих близких?

Никто не знал о существовании этой рукописи, за исключением ее мужа и госпожи Шерон, жены префекта, очень старинного и верного друга. Клара побежала к ней. К несчастью, госпожи Шерон не было дома, и она должна была вернуться не скоро. Что делать? Бабушка возвратилась совершенно расстроенная и без размышлений и промедлений

бросила в огонь все эти тетради. Отец мой вошел в комнату в то время, когда она сжигала последние листы – с некоторым промедлением, чтобы пламя не было слишком сильно. Ему было тогда семнадцать лет, и он позднее часто описывал мне эту сцену, воспоминание о которой ему было очень тяжело. Сначала он подумал, что это только копия мемуаров, которых он не читал, а драгоценный оригинал где-нибудь спрятан. Он сам бросил последнюю тетрадь в огонь, не придавая этому большого значения. «Едва ли какой-нибудь жест, – говорил он мне, – когда я узнал истину, оставил более жестокое сожаление в моей душе».

Эти сожаления с первых же минут были так сильны у матери и у сына, тотчас же понявших, что эта ужасная жертва была напрасна, что они никогда не могли говорить об этом даже друг с другом, а тем более сказать моему дедушке.

Дедушка весьма философски принял свою ссылку, которая не запрещала ему пребывания во Франции, но только не в Париже и его окрестностях. Он решил, что все они передут в Лангедок, чтобы там переждать бурю. У него было там имение, выкупленное им у наследников Батара, деда его жены, но управление имением было давно заброшено. Поэтому они поехали в Лафит, где отец мой позднее должен был прожить столько месяцев, столько лет, порой среди политических волнений, порой возвращаясь к тихой трудовой жизни, порой отдыхая там после нового изгнания, так как зло, причиняемое абсолютной властью, не ограничилось 1815 го-

дом, и Наполеоны возвратились во Францию из более далеких стран, чем остров Эльба.

Дед мой 13 марта отправился в Лафит, где семья присоединилась к нему несколько дней спустя. Здесь-то и оставались они все три месяца правления, более короткого, но еще более пагубного, чем прежде, – которое носило название Ста дней. Здесь-то отец мой начал свою карьеру писателя, не создавая еще ничего оригинального, но переводя Попа, Цицерона и Тацита. Единственными оригинальными произведениями были его песни.

Все они жили там спокойно, дружно, почти счастливые, ожидая конца этой трагедии, завершение которой предвидели; весть о битве при Ватерлоо застала их там. Вместе с известием об отречении Наполеона они узнали, что Ремюза назначен префектом в Верхней Гаронне ордонансом (королевским приказом. – *Прим. ред.*) от 12 июля 1815 года. Это назначение как нельзя более подходило мужу, возвращая его к деятельности, которую он любил, и не принуждая к придворным торжествам, но гораздо менее нравилось жене, которая жалела о Париже и своих друзьях, а также боялась волнений в Тулузе, ставшей добычей южного роялизма, «белого террора», как тогда говорили. Новый префект тотчас же отправился туда, узнал по приезде об убийстве генерала Рамеля, который, однако, водрузил белое знамя на Капитолии. Так велика несправедливость и жестокость партий, даже торжествующих, особенно торжествующих!

Однако как ни интересен этот эпизод наших гражданских бурь, нет необходимости на нем останавливаться. Здесь речь идет не о префекте, но именно о госпоже Ремюза. Несколько обеспокоенная событиями, а может быть, боясь резкости мнений сына, мало соответствующих официальному положению, госпожа Ремюза позволила ему возвратиться в Париж, что очень ему подходило. Тогда между матерью и сыном и завязалась переписка, которая лучше с ними познакомит и позволит больше узнать относительно личности автора этих мемуаров, чем сами эти мемуары.

Но здесь речь идет только об этом последнем труде, и нет необходимости подробно рассказывать о месяцах, даже о годах, следующих за 1815 годом. Назначенная в кровавые дни администрация департамента была в течение девятнадцати месяцев в очень трудном положении. В то время как в Париже сын, живя среди очень либерального общества, дошел до передового конституционного роялизма, который был уже только терпим по отношению к Бурбонам, отец получил от совершенно другого общества подобное же влияние и благодаря своим предложениям и поступкам, встал в первый ряд чиновников, настроенных наименее роялистично, наиболее либерально. Он был умерен, друг законов, справедлив, не фразер, не аристократ, не ханжа. Город Тулуза был до известной степени противоположностью всему этому, однако Ремюза удалось оставить там по себе добрые воспоминания.

Любопытны эти первые времена конституционной свобо-

ды даже в провинции, мало предназначенной к тому, чтобы смело осуществить ее теории. При свете этой свободы освещалось то, что Империя оставила в тени. Все возрождалось: мнения, чувства, недовольства, страсти, наконец, сама жизнь. Правительство Бурбонов было представлено женатым священником Талейраном и цареубийцей, якобинцем Фуше, но этого было еще недостаточно, чтобы противодействовать реакционной партии тех времен, а потому либеральная политика стала торжествовать только с правлением Деказа, Паскье, Моле и Ройе-Коллара и со времени знаменитого ордонанса 5 сентября⁹. Эта политика естественным образом должна была принести пользу тем, кто ее заранее держался, и во время поражения либеральной партии на выборах в Верхней Гаронне к префекту отнеслись хорошо. Как только министерство утвердилось и Лэне заместил Воблана, дед мой был назначен префектом Лилля, и вот как отец в уже упомянутом письме передает впечатления, какие произвели эти события на взгляды моей бабушки:

«Назначение моего отца в Лилль снова ввело мою мать в среду бурных движений общественного мнения, движений, которые вскоре должны были выразиться так сильно, как этого не случалось, быть может, с 1789 года. Ее ум, ее мысль, все ее чувства и верования должны были двинуться вперед. Империя, которая сначала возбудила в ней интерес и созна-

⁹ 5 сентября 1816 года по настоянию министра полиции графа Деказа была распущена ультрароялистская палата депутатов.

тельность, как всякое великое событие в нашем мире, позднее дала ей принципы движения к чисто моральной цели, внушая отвращение к тирании. Отсюда – смутное стремление к правильному правительству, основанному на законе, на разуме и национальном духе, отсюда – известное признание форм английской конституции. Ее пребывание в Тулузе и реакция 1815 года дали ей знакомство с реальными условиями жизни, которого никогда не достигнешь в парижских салонах, сознание результатов и даже причин революции, понимание нужд, чувства нации. Она поняла в общей форме, в чем была опора, сила, жизнь, право. Она знала о существовании новой Франции и о том, какова она».

VI

Пребывание в Лилле было прервано несколькими путешествиями в Париж, где бабушка моя нашла сына среди светских удовольствий, которые предшествовали его литературным успехам, начавшимся несколько месяцев спустя. Впрочем, ему приходилось уже писать и сочинять в письмах к матери, посвященных литературе и политике. Мать его имела больше досуга в Лилле, чем в Париже, и, хотя здоровье ее было всегда слабо, у нее снова появилась охота к умственному труду. До сих пор она ничего не писала, кроме своих сожженных мемуаров, и только иногда пробовала набросать короткие новеллы или маленькие статьи. Она начала, на до-

суге провинциальной жизни, роман в письмах под названием «Испанские письма, или Честолюбец». В то время как бабушка работала над романом с охотой и успехом, в 1818 году вышли в свет «Размышления о французской революции», посмертный труд госпожи де Сталь; он произвел на госпожу Ремюза самое сильное впечатление. Теперь, через шестьдесят лет, плохо отдают себе отчет в том необыкновенном впечатлении, какое мог произвести такой труд – красноречивое рассуждение о принципах революции.

Взгляды автора, в то время очень новые, теперь для нас представляют только прекрасные и благородные общие места, справедливость которых повсюду признана. Но не так было тотчас же после Империи. Все тогда было ново, и дети, смущенные двадцатилетней тиранией, должны были узнать то, что так хорошо знали их отцы в 1789 году. Что особенно поразило мою бабушку, это пылкие страницы, где автор отдается своей несколько демонстративной ненависти к Наполеону. Она сама испытывала похожие чувства, но так и не могла забыть, что думала раньше несколько иначе.

Люди, любящие писать, естественно искушаемы желанием объяснить на бумаге свои поступки и свои чувства. Это способ лучше их понять. Ей захотелось восстановить свои воспоминания, изложить, что представляла из себя Империя, как она любила ее и восхищалась ею, потом осуждала и боялась ее, потом подозревала и ненавидела, и, наконец, покинула.

Мемуары, которые госпожа Ремюза уничтожила в 1815 году, могли служить самым безыскусственным и точным изложением этой смены событий, положений и чувств. Нечего было и думать воспроизвести их, но можно было создать новые, которым верная память и чистая совесть придали бы такую же искренность. Воодушевленная этим проектом, она написала сыну 27 мая 1818 года:

«Вчера я была охвачена новой причудой. Ты узнаешь теперь, что я встаю ежедневно в шесть часов и пишу с этого времени очень аккуратно до девяти часов с половиной. Итак, я сидела за своими трудами, с тетрадами «Честолюбца», разбросанными вокруг меня. Но несколько глав госпожи де Сталь пронизали мой ум. И вдруг я бросаю роман в сторону, беру белую бумагу, я охвачена потребностью говорить о Бонапарте; вот я рассказываю об убийстве герцога Энгиенского, о той ужасной неделе, которую я провела в Мальмезоне. Так как я человек, живущий чувством, через несколько строк мне кажется, будто я опять переживаю это время. Факты и разговоры как бы сами собой встают передо мной; я написала двадцать страниц со вчерашнего дня, и это меня сильно взволновало».

Та же причина, которая пробудила впечатления матери, возбудила литературные вкусы и воззрения сына, и в то время как он печатал в «Архивах» свою первую статью о книге госпожи де Сталь, 27 мая 1818 года он написал своей матери письмо. Письма, как говорят, встретились в пути.

«Эта книга, мама, разбудила во мне очень сильное сожаление, что вы сожгли мемуары, но я сказал себе, что их нужно заменить. Вы обязаны сделать это ради вас, ради нас, ради истины. Перечтите прежние альманахи, «Монитор», страницу за страницей, перечтите и спросите свои прежние письма, написанные друзьям, особенно моему отцу. Старайтесь найти не подробности событий, но главным образом свои впечатления по поводу событий. Возвратитесь к мнениям, которых уж нет, к иллюзиям, которые потеряны, даже к ошибкам. Покажите себя, как многие уважаемые и разумные люди, негодующей и возмущенной ужасами революции, увлеченной естественной, но мало продуманной ненавистью, энтузиазмом, в сущности очень патриотическим, по отношению к одному человеку. Скажите, что мы все в то время сделали как бы чужды политике. Мы несколько не боялись власти одного, мы шли ей навстречу.

Покажите затем человека того времени, который портился (или обнаруживал себя) по мере того, как росло его могущество. Покажите, по какой печальной необходимости, теряя свои иллюзии на его счет, вы становились все в большую и большую от него зависимость, и как, чем меньше вы ему повиновались сердцем, тем больше надо было повиноваться фактически. Как, наконец, после того как вы верили в справедливость его политики, потому что ошибались относительно его личности, разочаровавшись в его характере, вы начали разочаровываться и в его системе. И нравствен-

ное негодование привело вас к тому, что я называю политической ненавистью. Вот что я умоляю вас сделать, мама. Вы услышите мою просьбу, не правда ли? И вы сделаете это?»

Два дня спустя, 30 мая, моя бабушка отвечала сыну:

«Не поражен ли ты тем, как мы понимаем друг друга? Я также читаю эту книгу, я поражена так же, как и ты; я жалею об этих несчастных и начинаю писать, не зная хорошенько, куда это меня ведет, так как, дитя мое, это в самом деле несколько трудная задача — та, которая меня искушает и которую ты мне предписываешь. Я хочу, однако, постараться восстановить известные эпохи, сначала без всякого порядка и очереди, события, как они вспомнятся. Ты можешь довериться мне, говоря по правде.

Вчера я была одна перед моим письменным столом. Искала в своих воспоминаниях первые моменты моего появления вблизи этого несчастного человека. Снова переживала массу вещей, и то, что ты так хорошо называешь моей политической ненавистью, было готово исчезнуть, чтобы уступить место моим прежним иллюзиям».

Несколько дней спустя, 8 июня 1818 года, она настаивает на трудности своей задачи:

«Знаешь ли ты, что я нуждаюсь во всей своей храбрости, чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь? Я немного напоминаю особу, которая провела бы десять лет на каторге и у которой спросили бы дневник с записями об этом времени. Теперь мое воображение тускнеет, когда возвращается к

этим воспоминаниям. Я испытываю что-то тяжелое от моих прошлых иллюзий и настоящих чувств. Ты прав, говоря, что у меня прямая душа, но отсюда следует, что я не могу безнаказанно чувствовать, как многие другие, и уверяю тебя, в течение недели я ухожу совершенно удрученная от письменного стола, куда ты и госпожа де Сталь засадили меня. Я не могла бы сказать никому другому, кроме тебя, о моих тайных впечатлениях. Меня бы не поняли и посмеялись бы надо мной».

Наконец, 28 сентября и 8 октября того же года она писала сыну:

«Если бы я была мужчиной, то, вероятно, отдала бы часть своей жизни, чтобы изучать Лигу, но так как я только женщина, я ограничиваюсь тем, что набрасываю замечания о том, кого ты знаешь. Какой человек! Какой человек, сын мой! Он ужасает меня, как только я начинаю писать. Для меня было несчастьем, что я была слишком молода, когда жила подле него. Я недостаточно думала о том, что было вокруг меня, а теперь, когда мы двинулись вперед – и я, и мое время, – мои воспоминания волнуют меня больше, чем это делали события.

Если ты приедешь, то увидишь, как мне кажется, что я не теряла времени в это лето. Я написала уже около пяти-сот страниц и напишу гораздо больше; работа увеличивается по мере того, как я за нее берусь. Потребуется впоследствии много времени и терпения, чтобы привести все это в

порядок, а у меня, быть может, никогда не будет ни того ни другого. Это будет твое дело, когда меня не будет больше на этом свете...»

«Отец твой, – писала она еще, – говорит, что не знает никого, кому бы я могла показать то, что написала. Он думает, что нет никого, у кого был бы больше развит талант быть правдивым, это его выражение. Кроме того, я пишу не для кого-то неизвестного. Когда-нибудь ты найдешь эту рукопись в моем бюро и сделаешь с ней, что захочешь».

«Но знаешь ли ты мысль, которая иногда преследует меня? Я говорю себе: «Если бы когда-нибудь сын мой издал это, что бы обо мне подумали?» Мной овладевает беспокойство, что меня сочтут дурной или по крайней мере недоброжелательной. Я старалась найти случаи хвалить. Но этот человек был таким убийцей добродетели, а мы, мы были так унижены, что очень часто отчаяние охватывает мою душу и у меня готов вырваться крик правды».

Из приведенных отрывков видно, под влиянием каких чувств были задуманы и написаны эти мемуары. Это не было ни литературным препровождением времени, ни развлечением для воображения, ни результатом претензий писателя, ни опытом пристрастной апологии. Но страсть к истине, политическое зрелище, которое было перед глазами автора, влияние сына, с каждым днем все более и более укреплявшегося в либеральных взглядах, которые должны были со-

ставить очарование и гордость его жизни, дали ей мужество работать над мемуарами более двух лет. Она поняла благо-родную политику, которая ставит права человека выше прав государства.

Но и это не все. Как бывает с людьми, сильно преданными умственной работе, все оживлялось и освещалось в ее глазах, и никогда она не вела более деятельной жизни. Среди страданий, причиняемых слабым здоровьем, она постоянно ездила из Лилля в Париж, играла роль Эльмиры в «Тартюфе», в замке Шамплатре у графа Моле, занималась работой о женщинах XVII века, которая составила «Опыты о воспитании женщин», давала указания Дюпюитрену для восхваления Корвисара, напечатала даже новеллу.

Несмотря на счастье, какое давали ей спокойная жизнь и деятельный ум, административные успехи мужа и литературные успехи сына, здоровье ее было сильно затронуто сначала болезнью глаз, которая, не угрожая жизни, стала тяжелой и стесняющей, потом общим раздражением, которое отразилось особенно на слизистых оболочках желудка. После нескольких приступов и улучшений сын привез ее в Париж 28 ноября 1821 года очень расстроенную, очень больную, в состоянии, которое беспокоило тех, кто любил ее, но которое, казалось, не представляло в глазах врачей близкой опасности. Один только Бруссе мрачно смотрел на будущее и поразил моего отца той силой проникновения, которой он был

обязан своим открытиям и своим ошибкам. Однако первое время в Париже было употреблено ею на работы по литературе и истории, на политические разговоры, которые собирали вокруг нее большое количество государственных людей. Бабушка могла еще интересоваться падением министерства Деказа и предвидеть, что поражение Виллеля, то есть ультра-роялистов, реакционеров, как сказали бы теперь, сделало бы невозможным для ее мужа сохранение префектуры в Лилле. В самом деле, он был отозван 9 января 1822 года. Но, не дожив до этого дня, она умерла внезапно в ночь на 16 декабря 1821 года, сорока одного года.

Сын ее сохранил на всю жизнь глубокую скорбь о ее утрате, а друзья – воспоминание о женщине выдающейся и очень доброй. Никого из них нет теперь в живых, и на наших глазах исчезли последние: Паскье, Моле, Гизо, Леклерк. При соединяясь к желанию, к воле моего отца, я приношу ей теперь дань наибольшего уважения изданием этих неоконченных мемуаров, которые, за исключением нескольких глав, она не смогла ни просмотреть, ни исправить. Труд этот должен был быть разделен на пять частей, соответствующих пяти эпохам. Она закончила только три из них, которые посвящены периоду от 1802-го до начала 1808 года, то есть со времени ее прибытия ко двору до начала Испанской войны. Части, которых недостает, были бы посвящены времени, которое протекло между этой войной и разводом (1808–1809), и, наконец, пяти последним годам, закончившимся падением

императора.

Было бы наивностью не предвидеть, что подобная публикация может навлечь на автора и издателя инсинуации, неблагожелательство или даже политические резкости. Вместо того чтобы интересоваться воззрениями трех поколений, сравнением, которое позволит заметить, какая разница в эпохах, – обратят внимание на видимые противоречия. Удивятся, как можно было быть камергером или придворной дамой – и так мало раболепными, быть либеральными – и так мало возмущенными 18-м брюмера, столь патриотичными – и столь мало бонапартистами, так покоренными гением – и так строго относящимися к его ошибкам, быть столь ясно видящими по отношению к большинству членов императорской фамилии – и столь снисходительными или даже слепыми по отношению к другим, которые, однако, оставили не менее пагубный след в нашей национальной истории. Но трудно будет не отдать автору должной справедливости в его искренности, честности и уме. Невозможно будет, читая эти мемуары, не сделаться более строгим по отношению к абсолютной власти, не перестать быть ослепленным ее софизмами и внешним благополучием.

Поль Ремюза

Вступительные характеристики

Начиная свои мемуары, я считаю нелишним предпослать им некоторые замечания относительно характера императора и отдельных членов его семьи. Мне кажется, что эти замечания помогут мне в той трудной задаче, которую я себе поставила, помогут лучше разобраться во множестве самых разнообразных впечатлений, полученных мной на протяжении двенадцати лет.

Начну с самого Бонапарта. Не всегда я смотрела на него так, как смотрю теперь: мои взгляды изменились вместе с ним. Но я так далека от каких бы то ни было личных обвинений, что мне кажется невозможным отступить от того, чего требует истина.

Наполеон Бонапарт

Бонапарт был маленького роста, непропорционально сложен, так как слишком длинная верхняя часть тела укорачивала рост. Волосы его были редкими, каштанового цвета, глаза – серо-голубыми; цвет лица отдавал желтым, когда Наполеон был очень худ, а с течением времени сделался матово-белым, без всякой окраски. Линия лба и носа, разрез глаз – все это было прекрасно и напоминало античные медали.

Рот его, несколько сжатый, становился приятным, когда он улыбался; зубы составляли правильный ряд; немного короткий подбородок и квадратная челюсть придавали тяжеловатость нижней части лица; ноги и руки его были красивы, и я обращаю на это внимание потому, что он сам придавал этому большое значение.

У него была манера держаться всегда несколько устремленным вперед. Глаза, обыкновенно тусклые, придавали лицу его в час покоя меланхолическое, задумчивое выражение; когда он вспыхивал гневом, взгляд его быстро становился суровым и угрожающим. Улыбка необыкновенно шла ему: она молодила и как будто обезоруживала все его существо. Трудно было не поддаться ее очарованию, так она преображала и красила его лицо.

Костюм его всегда был очень прост: обыкновенно Наполеон носил мундир одного из своих гвардейских полков. Соблюдал чистоту, но больше ради системы, чем по личному вкусу; часто принимал ванну, иногда даже ночью, считая это полезным для здоровья. Что касается всего остального, то быстрота, с которой он все совершал, не давала ему возможности много заботиться о костюме; поэтому в дни торжеств и парадов его лакеи должны были сговариваться, чтобы уловить момент и успеть надеть на него какую-нибудь принадлежность костюма. Он не умел носить никаких украшений: малейшее стеснение всегда казалось ему невыносимым. Он срывал и уничтожал все, что причиняло ему хотя бы любое

неудобство, а несчастный лакей, причинивший ему эту миллетную неприятность, порой получал слишком явное и стойкое доказательство его гнева.

Я уже говорила, что было какое-то необыкновенное очарование в улыбке Наполеона, но в течение всего того времени, когда я видела его, он очень редко улыбался. Основным тоном всего его существа была постоянная серьезность, но не та, которая вытекает из благородства и достоинства привычек, а та, которая создается глубоким размышлением.

В молодости он был мечтателем, позднее становится грустным, еще позднее все это переходит в почти постоянное дурное настроение. Когда я познакомилась с ним, он очень любил все то, что располагает к мечтательности: Оссиана, сумерки, меланхолическую музыку. Я слышала, как иногда он восхищался шумом ветра, как с энтузиазмом говорил о рокоте моря, порой впадал в искушение верить в ночные привидения; наконец, у него имелась известная склонность к суеверию. Иногда, покинув свой кабинет, он входил вечером в салон госпожи Бонапарт, обволакивал свечи белым газом, предписывал нам всем глубокое молчание, – и ему нравилось рассказывать или слушать истории о привидениях. Иногда он слушал музыку – тихие, нежные мелодии, исполняемые итальянскими певцами под аккомпанемент немногих тихо звучащих инструментов.

Тогда он впадал в мечтательное настроение, которое все уважали, не смея сделать движение или сойти с места. Придя

в себя после этого состояния, доставляющего ему, по-видимому, какое-то облегчение, он становился веселее и общительнее и любил тогда рассказывать о тех впечатлениях, которые только что пережил. Бонапарт так объяснял влияние, какое оказывала на него музыка, особенно Паизиелло: «Она монотонна, а только те впечатления, которые повторяются, могут овладевать нами». Геометрический склад ума всегда приводил его к анализу всех своих чувств. Бонапарт был человеком, особенно много задумывающимся над тем «почему», которое управляет человеческими поступками.

Вечно настороже, даже в мельчайших событиях своей жизни, открывая всегда самые тайные мотивы для каждого движения, он никогда не понимал и не признавал той естественной беспечности, которая иной раз заставляет действовать без всякого плана и цели. Поэтому, судя о других по себе, он часто ошибался, и его заключения и поступки, за ними следовавшие, нередко доказывали, как он заблуждался.

Бонапарту недоставало воспитания и внешнего лоска; казалось, он был рожден или для жизни в палатке, где все безразлично, или на троне, где все дозволено. Он не умел ни войти, ни выйти из комнаты, не знал, как надо кланяться, вставать или садиться; все его жесты были резки и порывисты, такой же была манера говорить. В его устах даже итальянский язык терял свое изящество. На каком бы он ни говорил языке, последний всегда казался не родным ему; оставалось впечатление, будто он делает усилие, чтобы выразить

свою мысль. Притом ему было невыносимо следовать какому бы то ни было правилу; всякая свобода нравилась ему как победа, и никогда ничего не уступал он даже грамматике.

Бонапарт рассказывал, что в юности любил романы, так же, как и точные науки. Быть может, ум его освежался от этого смешения. К несчастью, он попал, по-видимому, на не самые лучшие образцы этого сорта книг, но сохранил такое воспоминание об удовольствии, полученном от них, что, женившись на госпоже Богарне, дал ей читать «Ипполита, графа Дугласа» и «Современниц»¹⁰, «чтобы она составила себе понятие о чувствах и обычаях общества».

Пытаясь начертать образ Бонапарта, надо было бы, следуя столь любимым им приемам анализа, разделить существо на три совершенно различные части: душу, сердце и ум, которые действительно почти никогда у него не сливались.

Хотя он был, безусловно, человеком выдающимся благодаря некоторым чертам своего интеллекта, но трудно представить себе что-нибудь более низменное, чем его душа: никакого великодушия, ни тени истинного величия. Я никогда не видела, чтобы он восхищался благородным поступком, чтобы он даже понял его. Он всегда недоверчиво относился к проявлениям добрых чувств. Не придавал никакой цены искренности и не боялся признавать превосходство человека

¹⁰ «Современницы» – роман, или, вернее, серия маленьких романов или портретов, написанных Ретифом де ла Бретонном. «Граф Дуглас» – роман мадам Д'Онуа.

в зависимости от того, насколько искусно умеет он пользоваться ложью. По этому поводу Бонапарт любил вспоминать, как один из дядей еще в детстве предсказал ему, что он будет когда-нибудь править миром, потому что имеет привычку вечно лгать. «Меттерних, – говаривал он, – может стать государственным человеком: он очень искусно лжет».

Для того чтобы править людьми, Бонапарт всегда пользовался теми средствами, которые принижали их больше всего. Он боялся каких бы то ни было привязанностей, стремился отдалить каждого, дарил свои склонности, возбуждая тревогу, думая, что лучший способ привязать к себе людей – скомпрометировать их, часто даже погубить в общественном мнении.

Он прощал добродетель только тогда, когда мог сделать ее смешной.

Нельзя сказать, чтобы Бонапарт истинно любил славу: он, не колеблясь, предпочитал ей успех. Действительно смелый в удаче, доводя ее до крайних пределов, каких мог достигнуть, он бывал робок и смущен, когда над головой его сгущались тучи. Всякое смелое великодушие было совершенно чуждо ему, и по этому поводу нельзя изобразить его без прикрас лучше, чем сделал это он сам в одном признании. Оно сохранилось в рассказе, который я никогда не забуду.

Однажды – дело было после поражения под Лейпцигом, когда, возвратясь в Париж, он был занят объединением остатков своей армии для защиты границ, – Бонапарт расска-

зывал Талейрану о неудачной войне с Испанией и о затруднениях, в которые вовлекла его эта война. Он любил говорить о своем положении, но не с той благородной откровенностью, которая не боится признаться в ошибке, а с сознанием своего превосходства, которое не допускает затушевывания. Именно в это свидание, среди его излияний, Талейран внезапно сказал:

– Кстати, вы советуетесь со мной так, как будто бы мы не были в ссоре.

Бонапарт ответил:

– На все свое время. Оставим теперь прошедшее и будущее и посмотрим ваше мнение относительно текущего момента.

– Хорошо, – продолжал Талейран, – вам остается одно: надо признать, что вы ошиблись, и сказать это как можно благороднее. Заявите, что вы король волей народной, избранный нациями, и вашей целью никогда не было идти против их желания; скажите, что когда вы начали Испанскую войну, то надеялись только освободить народ от ига ненавистного министра, поощряемого слабостью его монарха. Но, присмотревшись поближе, вы видите, что испанцы, сознавая недостатки короля, привязаны к династии, и вы вернете им династию, чтобы не говорили, что вы противитесь воле народа. После этой прокламации освободите Фердинанда¹¹ и

¹¹ Фердинанд VII (1784–1833) – сын Карла IV; конфликтовал с отцом и имел репутацию вождя национальной партии, оппозирующей Наполеону.

уведите войска. Подобное признание с такой высоты, при том в минуту, когда иностранцы еще колеблются на нашей границе, может только оказать вам честь, и вы еще слишком сильны, чтобы это сочли низостью.

– Низостью? – возразил Бонапарт. – Это все равно; знайте, что я не задумался бы совершить ее, если бы она была мне полезна. Знаете, в сущности, нет ничего благородного или низкого в этом мире. В моей натуре есть все то, что может повести к упрочению власти и к тому, чтобы обманывать тех, кто думает, что знает меня. Откровенно говоря, я низок, совершенно низок; даю вам слово, что у меня не возникнет ни малейшего отвращения совершить то, что называется в свете бесчестным поступком. Мои тайные наклонности – в сущности, природные, но противоречащие показному величию, которым я принужден себя декорировать, – дают мне бесконечные ресурсы, чтобы обманывать надежды всего мира. Поэтому дело только в том, чтобы разобрать, согласуется ли то, что вы мне советуете, с моей настоящей политикой, и поискать, – добавил он с сатанинской, по словам Талейрана, улыбкой, – нет ли у вас каких-нибудь скрытых интересов вовлечь меня в этот поступок.

Если бы я могла продолжать эту характеристику вне обычных пределов, то прибавила бы сюда еще ряд рассказов, которые не смогу поместить в другом месте и которые подтвердили бы то, что я стараюсь доказать. Приведу еще только один, который кажется мне здесь вполне уместным.

Бонапарт готовился к отплытию в Египет. Он посетил Талейрана, который был в то время министром иностранных дел в правительстве Директории. «Я был тогда болен и лежал в постели, – говорил Талейран. – Бонапарт сел около меня, поверил мне мечты своего юного воображения и заинтересовал живостью своего ума, а также всеми препятствиями, которые он должен был встретить со стороны своих тайных врагов, о которых я знал. Он рассказал мне о своих затруднениях из-за недостатка денег и сказал, что не знает, как достать их. «Послушайте, – сказал я ему, – откройте мой письменный стол, вы найдете там 100 тысяч франков, которые принадлежат мне; в данный момент они – ваши, вы вернете мне их по возвращении». Бонапарт бросился мне на шею, и мне стало как-то приятно от его радости.

Сделавшись консулом, он вернул мне деньги, которые я одолжил ему. А потом однажды спросил: «Какой интерес мог быть у вас, чтобы одолжить мне эти деньги? Сотни раз задавал я себе этот вопрос и не мог хорошо понять, какова была ваша цель». – «Дело в том, – отвечал я ему, – что у меня не было никакой цели. Я был болен, мог никогда вас больше не увидеть. Вы были молоды, вы произвели на меня сильное и глубокое впечатление, меня влекло к тому, чтобы оказать вам эту услугу без всякой задней мысли». – «В таком случае, – продолжал Бонапарт, – если у вас действительно не было никакого предвидения, вы сыграли роль простака»».

Следуя порядку, который указала раньше, я должна гово-

ритель теперь о сердце Бонапарта. Но если можно представить себе, что существо, во всем нам подобное, может быть лишено того органа, который дает нам потребность любить и быть любимым, я сказала бы, что в момент появления на свет Бонапарта сердце его было забыто или, может быть, ему удалось совершенно обуздать его. Он всегда слишком много заботился о своей славе, чтобы отдаться какому бы то ни было нежному чувству. Он почти не признавал никаких уз крови, никаких естественных прав. Я не знаю, не был ли он лишен даже чувства отца, по крайней мере оно не играло, судя по всему, главной роли в его отношении к сыну.

Однажды во время завтрака, к которому был допущен Тальма, что случалось довольно часто, привели маленького Наполеона.

Император берет его к себе на колени и, очень далекий от какой бы то ни было ласки, забавляется тем, что бьет его, — правда, довольно легко. «Тальма, — говорит он, — скажите, что это я делаю?» Тальма, естественно, затрудняется с ответом. «Вы не видели? — продолжает император. — Я секу короля».

Несмотря на обычную сухость, Бонапарт, однако, порой испытывал чувство любви. Но, Господи Боже, что это была за манера испытывать любовь! Впрочем, любовь, как и набожность, принимает обыкновенно все оттенки характера. У натуры нежной любовь ведет к почти полному перевоплощению в любимое существо, у человека с характером Наполео-

на она является поводом к проявлению еще большего деспотизма.

Император презирал женщин, а презрение — плохая школа для любви. Женская слабость казалась ему неоспоримым доказательством того, что они — существа низшие, а влияние их в обществе представлялось невыносимой узурпацией, результатом и недостатком прогресса нашей цивилизации, всегда несколько его личным врагом, по выражению Талейрана. Бонапарт всю жизнь испытывал некоторое стеснение с женщинами, а так как его раздражало всякое стеснение, он плохо относился к ним, не зная, как надо с ними говорить.

По правде говоря, он мало встречал женщин, которые могли бы изменить его взгляды. Легко представить себе, какого рода связи были у него в юности. В Италии он встретил полный упадок нравственности, который еще увеличивался от присутствия французской армии, а когда Бонапарт вернулся во Францию, общество было совершенно рассеяно. Испорченный круг, стоявший близко к Директории, пустые и фривольные жены деловых людей и поставщиков, — вот какковы были парижанки, которых знал Бонапарт. Когда же он достиг консульства, пережил своих генералов и адъютантов и призвал ко двору их жен, то увидел близ себя очень юных, робких и молчаливых женщин или жен своих товарищей по оружию, которые внезапно выдвинулись из прежнего, очень скромного положения вследствие перемены судьбы их мужей; но эта перемена была так быстра, что они не

могли скрыть ее.

Я склонна думать, что Бонапарта, почти исключительно занятого политикой, если и привлекала любовь, то только из тщеславия. Он признавал женщин только прекрасных или по крайней мере молодых. Он, вероятно, охотно подал бы голос за то, чтобы в благоустроенной стране нас убивали, как насекомых, которых сама природа осудила на смерть после осуществления ими задачи материнства.

Но все же Бонапарт некогда испытывал чувство любви по отношению к своей первой жене; действительно, если он когда-нибудь волновался, то, несомненно, только ради нее и из-за нее. Можно быть Наполеоном, но нельзя совершенно избежать всяких влияний, и характер человека выражается не в том, каким он бывает всегда, а в том, каким он бывает по большей части. Бонапарт был еще молод, когда познакомился с госпожой Богарне. Благодаря имени, которое она носила, благодаря необыкновенному изяществу манер, она, безусловно, превосходила тот круг, где он ее встретил. Она привязалась к нему, и это льстило его гордости; благодаря ей он достиг видного положения и привык связывать с ее влиянием все, что было счастливого в его судьбе. Она умело поддерживала в нем это суеверие, которое долго оказывало на него влияние и даже несколько раз задерживало исполнение проектов о разводе. Бонапарт считал, что, женившись на Жозефине Богарне, он заключает союз с очень знатной дамой; это была новая победа. В характеристике, посвященной

специально госпоже Бонапарт, я расскажу подробнее о том очаровании, под влиянием которого находился Бонапарт.

Несмотря, однако, на предпочтение, которое он ей оказывал, я видела его влюбленным два или три раза, и вот когда проявлялся весь его деспотизм. Как он раздражался от малейшего препятствия! Как резко отвечал на ревнивые беспокойства своей жены! «Вы должны, — говорил он ей, — подчиняться всем моим фантазиям и находить совершенно естественным, что я доставляю себе подобные развлечения. Я имею право ответить на все ваши жалобы вечным «я». Я не стою на одном уровне со всеми и ни от кого не принимаю никаких условий». Но притом же, угнетая своей властью ту, которой он на мгновение пренебрегал, стремился он подчинить себе и другую, бывшую предметом его мимолетного внимания.

Удивленный возможностью даже временного превосходства над собой, он раздражался, подчинялся только мимолетно, крайне резко обходился с предметом своей победы и, достигнув ее, охладевал и спешил освободиться, публично открывая тайну своего успеха.

Ум императора составлял, бесспорно, самую выдающуюся часть его существа. Трудно, кажется, представить себе ум более обширный. Образование ничего к нему не прибавило, так как, в сущности, Бонапарт был невежествен, мало читал и притом всегда поспешно. Но он легко овладевал всем, что узнавал, а воображение давало возможность развить все это.

Способности его кажутся громаднейшими, так как в уме его могло уместиться и классифицироваться множество знаний, не утомляя его.

Одна мысль порождала у него тысячи других, и одно какое-нибудь слово переносило его беседу в области самые возвышенные, – правда, не всегда по законам строгой логики, но всегда так, что ярко сквозил ум.

Я с большим удовольствием слушала, как он разговаривает или, вернее, говорит, так как его беседа большей частью состояла из длинных монологов. Это делалось не потому, что он не допускал возражений (конечно, когда бывал в хорошем настроении). Двор его, в течение долгого времени исключительно военный, имел обыкновение слушать все его речи как приказы, а позднее двор этот стал настолько многочислен, что никто не пытался брать на себя роль оппонента или же собеседника.

Мне приходилось уже говорить, что Бонапарт плохо выражал свои мысли; однако речь его обыкновенно бывала блестяща и оживленна, а грамматические ошибки иногда даже придавали ей неожиданную силу, всегда прекрасно подкрепленную оригинальностью идей. Притом он не нуждался в собеседнике, чтобы увлечься. С того момента, как Бонапарт входил в вопрос, он быстро шел вперед, однако, внимательно глядя, следуют ли за ним, и с удовольствием видя, что его понимают и аплодируют ему. Иной раз уметь слушать было удобным и верным средством понравиться ему. Подобно ак-

теру, воодушевляющемуся эффектом, который он производит, Бонапарт радовался одобрению, которого искал в глазах своей аудитории. Он сильно интересовал меня, когда говорил, я слушала его с удовольствием, и вспоминаю, как он провозгласил меня умной женщиной, хотя я не сказала ему еще и двух сколько-нибудь связных фраз.

Он любил говорить о себе, рассказывать и судить так, как мог бы судить о нем другой. Чтобы извлечь выгоды из своего характера, он иногда подчинял его самому строгому анализу. Он часто говорил, что истинно государственный человек умеет рассчитать все мельчайшие выгоды, какие может извлечь даже из своих недостатков. Талейран выражается об этом еще сильнее. Я слышала, как однажды он раздраженно воскликнул: «Этот демонический человек обманывает по всем пунктам. Даже страсти его ускользают от вас, так как он находит способ вымышлять их, хотя они, конечно, и в самом деле существуют в нем».

Мне приходит на память сцена, ясно рисуемая, до какой степени умел Бонапарт переходить от самого полного спокойствия к самому сильному гневу, когда это казалось ему нужным.

Незадолго до нашего последнего разрыва с Англией вдруг распространяется слух, что война вот-вот возобновится и что посланник, лорд Витворт, готовится к отъезду. Обычно один раз в месяц, утром, консул принимал у госпожи Бонапарт посланников и их жен. Эта аудиенция происходи-

ла с большой торжественностью. Иностранцы собирались в зале, и когда все были в сборе, об этом докладывали Первому консулу. Он показывался вместе со своей женой, за ними следовали префект и придворная дама. Им представляли посланников и их жен. Госпожа Бонапарт садилась побеседовать с минуту, Первый консул поддерживал более или менее продолжительный разговор и затем удалялся с легким поклоном.

Незадолго до нарушения мира весь дипломатический корпус был, по обыкновению, собран в Тюильри. Пока ожидали Бонапарта, я прошла во внутренние апартаменты госпожи Бонапарт и вошла в комнату, где она заканчивала свой туалет. Первый консул, сидя на полу, весело играл с маленьким Наполеоном, старшим сыном его брата Луи.

Вместе с тем он развлекался, контролируя туалет госпожи Бонапарт и мой собственный и сообщая свое мнение о каждой части нашего костюма. Казалось, он в самом лучшем настроении. Я заметила это и сказала, что донесения, которые будут отправлены посланниками в этот вечер, вероятно, будут говорить только о мире и согласии, — таким веселым и спокойным покажется он им. Бонапарт рассмеялся и продолжал играть с ребенком.

Вдруг его извещают, что все в сборе. Он вскакивает, и веселая улыбка мгновенно исчезает с его лица; меня поразило строгое выражение, сменившее ее; он точно бледнеет благодаря усилию воли, черты его искажаются, и все это в мгно-

вание ока, скорее, чем это возможно описать. «Ну, дамы», — произносит он взволнованно и быстро направляется в залу. Никому не кланяясь, подходит он к английскому посланнику, и тут начинаются горькие жалобы на все, что случилось в его управление. Гнев его, по-видимому, растет с каждой минутой и достигает такого пункта, который пугает уже все собрание. Самые жесткие слова, самые ужасные угрозы срываются каким-то полусдавленным шепотом с его уст. Никто не смеет пошевелиться. Госпожа Бонапарт и я смотрим друг на друга, онемев от изумления; каждый более или менее трепещет за себя. Даже постоянная флегматичность англичанина поколеблена, и он едва находит какие-то слова для ответа.

Другой рассказ, несколько странный, но очень характерный, может доказать, до какой степени он владел собой¹².

Когда Бонапарт предпринимал какое-нибудь путешествие или совершал какую-нибудь кампанию, он не пренебрегал и некоторого рода развлечениями, посвящая им время в короткие промежутки между делами или битвами. Зять его Мюрат или маршал Дюрок должны были позаботиться о том, чтобы найти для него способ удовлетворять его мимолетные фантазии.

Тотчас после первого его прибытия в Польшу Мюрат, приехавший в Варшаву раньше его, получил приказание

¹² Аббат де Прадт рассказывает, что однажды после гневной сцены император подошел к нему и спросил: «Вы думаете, что я очень разгневан? Разуверьтесь: у меня гнев никогда не идет дальше этого», — и он провел рукой по шее, показывая, что волнение желчи никогда не смущает его ума (П.Р.).

найти для императора молодую прекрасную женщину, по возможности – среди аристократии. Он удачно исполнил это поручение и подыскал для исполнения этого акта любезности молодую знатную польку, которая была замужем за стариком. Неизвестно, какой способ употребил Мюрат, каковы были его обещания, но в конце концов он добился того, что она согласилась на все условия и даже на то, чтобы отправиться однажды вечером в замок, расположенный неподалеку от Варшавы, где остановился император.

Вот, наконец, эта прелестная особа отправляется в путь и прибывает довольно поздно в место назначения. Она сама рассказывала об этом приключении, признаваясь (чему, конечно, нетрудно верить), что приехала взволнованная и дрожащая. Император сидел в своем кабинете. Ему докладывают о прибывшей. Не беспокоя себя, он велит проводить ее в комнату, для нее предназначенную; велит предложить ей ванну и ужин и прибавляет, что после этого она может ложиться спать. Сам он продолжает заниматься до глубокой ночи.

Наконец, когда все дела его закончены, он направляется в комнату, где его так долго ждали как господина, который пренебрегает излишними приготовлениями. Затем, не теряя ни минуты, он начинает самый необыкновенный разговор о политическом положении Польши, расспрашивая молодую женщину так, как сделал бы это с полицейским агентом, собирая самые обстоятельные сведения о всех польских вель-

можах, находящихся в то время в Варшаве. Он тщательно расспрашивает об их взглядах, об их интересах в данное время и долго продолжает этот странный допрос.

Можно представить себе удивление молодой двадцатилетней женщины, которая совсем не приготовилась к подобному дебюту. Она постаралась по мере сил удовлетворить его, и только тогда, когда ей нечего было больше говорить, он, казалось, вспомнил, что по крайней мере Мюрат обещал ей от его имени гораздо более нежные слова.

Как бы там ни было, известно, что этот способ действий не помешал молодой польке привязаться к нему, так как связь эта продолжалась в течение нескольких кампаний Наполеона.

Впоследствии она приехала в Париж, и там у нее родился сын, предмет надежд поляков, которые возлагали на него упования относительно своей будущей независимости... Я видела мать, представленную к императорскому двору. Сначала она возбуждала ревность госпожи Бонапарт, а после развода стала, наоборот, в Мальмезоне довольно близкой подругой отвергнутой императрицы, к которой часто приводила своего сына.

Уверяли, что, оставшись верной императору и в несчастий, она не раз посещала его на острове Эльба; он нашел ее во Франции и тогда, когда совершилось его последнее роковое появление. Но после его вторичного падения (я не знаю, когда она овдовела) полька вышла замуж и умерла в Париже

в том же 1818 году. Я знаю все эти подробности от Талейрана.

Но вернемся к начатой характеристике. Бонапарт был очень большим индивидуалистом, его нелегко было тронуть тем, что лично его не касалось. Однако порой и он бывал застигнут некоторыми порывами чувствительности, но они всегда быстро проходили и сильно раздражали его. Нередко он бывал так взволнован, что проливал даже слезы, – кажется, они были результатом нервного возбуждения, и тогда наступал кризис. «У меня, – говорил он сам, – крайне несговорчивые нервы, и, если бы кровь не текла всегда так медленно в моих жилах, я рисковал бы сойти с ума». Я знаю, в самом деле, от Корвисара¹³, что в его артериях кровь пульсировала медленнее, чем у других людей. Бонапарт никогда не испытывал того, что называется обыкновенно головокружением, он говорил, что даже не может понять выражения: «У меня голова кружится».

Бонапарт часто давал волю жестоким и оскорбительным по отношению к собеседнику словам, и не только потому, что был крайне снисходителен к малейшим своим побуждениям, – казалось, он находил удовольствие в том, чтобы запугивать и оскорблять тех, кто до известной степени дрожал перед ним. Он думал, что тревога возбуждает рвение, и поэтому старался всегда казаться всем и всеми недовольным. Ему прекрасно служили, повиновались ему мгновенно,

¹³ Корвисар Жан Никола (1755–1821) – лейб-медик Наполеона.

и, однако, он постоянно жаловался и охотно допускал, чтобы в личной части его дворца царил легкий и мелочный страх.

Если в увлечении разговором с ним вдруг устанавливалась хотя бы на минуту некоторая непринужденность, сразу становилось заметно, что он боится, как бы не злоупотребили ею; тогда резким и высокомерным словом он быстро возвращал на место, т. е. к обычному страху, того, с кем только что был ласков и приветлив.

По-видимому, Бонапарт ненавидел всякий отдых — и для себя, и для других. Когда господин Ремюза устраивал для него великолепные празднества, где были собраны все искусства, чтобы доставить ему удовольствие, я даже никогда не спрашивала, доволен ли император, а только — не много ли он ворчал.

Служить ему было самым тяжким делом в мире; ему самому случалось говорить, в минуту наибольшей откровенности: «Истинно счастлив только тот, кто прячется от меня в самой глубине провинций; когда я умру, весь мир облегченно скажет: уф!»

Я уже говорила, что Бонапарт был чужд какого-либо великодушия, а между тем дары его бывали неисчислимы, награды, раздаваемые им, — огромны. Но когда он платил за услугу, то слишком сильно давал почувствовать, что рассчитывает этим купить себе новую, и все оставались в смутной тревоге по поводу условий торга.

Иногда в его щедрости бывало много фантазии, и ред-

ко его благодеяния вызывали признательность. Впрочем, он требовал, чтобы деньги, которые он раздавал, были истрачены; любил, чтобы делали долги, так как это поддерживало зависимость от него. Его жена давала ему самое полное удовлетворение в этом отношении, и он никогда не желал привести в порядок ее дела, чтобы сохранить способ держать ее в вечной тревоге.

Однажды он назначил Ремюза большое содержание, требуя, чтобы у нас было то, что называется открытым домом, и собиралось много иностранцев. Мы сделали все те расходы, которых требует такой дом. Вскоре я перенесла большое несчастье – потеряла мать – и вынуждена была прекратить приемы. Тогда вдруг император отнимает у нас все свои дары, потому что, говорит он, мы не выполнили данные обещания. Он оставил нас самым безжалостным образом в стесненном положении, в которое нас вовлекли исключительно его мимолетные и стеснительные щедроты.

Здесь мне приходится остановиться. Если мне удастся выполнить задуманный план, я, постепенно обращаясь к своей памяти, приведу и другие рассказы, которые дополняют этот беглый эскиз. Он должен бы дать хоть некоторое понятие о характере того человека, с которым судьба связала меня в лучшие годы моей жизни.

Мать Бонапарта

Госпожа Бонапарт, мать Наполеона (урожденная Рамолино), вышла замуж четырнадцати лет в 1764 году за Карла Бонапарта, семья которого была записана в ряды дворянских фамилий Корсики. Говорили, что у нее была связь с де Марбефом, губернатором этого острова, и будто бы даже Наполеон был плодом этой связи. В самом деле, у него всегда были какие-то отношения с семьей Марбеф. Как бы там ни было, губернатор признал Наполеона Бонапарта в числе тех дворянских детей, которые были посланы из Корсики во Францию, чтобы воспитываться в военной школе. Он был помещен в школу в Бриенне.

Когда англичане овладели Корсикой в 1793 году, госпожа Бонапарт, богатая вдова, переселилась с другими детьми в Марсель. Воспитание детей было в большом пренебрежении; если верить воспоминаниям марсельцев, на дочерях ее не отразились принципы слишком строгой морали. Император никогда не мог простить Марселю того, что город этот был свидетелем недостатка уважения по отношению к его родным, и неприятные анекдоты, неосторожно рассказанные некоторыми провансальцами, постоянно вредили в глазах императора интересам всего Прованса.

На время воспитания сына госпожа Бонапарт поселилась в Париже. Она жила довольно замкнуто, накапливая деньги

по мере возможности, но не вмешивалась ни в какие дела и не старалась оказывать влияния. Ее сын импонировал ей, как и всем на свете. Это была женщина очень посредственного ума; несмотря на высоту, на которую вознесли ее события, она так и не подала повода ни к каким похвалам. После падения Наполеона она удалилась в Рим, где и поселилась со своим братом, кардиналом Фешем.

О нем говорят, что во время первой итальянской кампании он с крайней алчностью воспользовался обстоятельствами, чтобы создать себе состояние. Феш получил, или даже, как говорят, захватил, огромное количество картин, статуй и драгоценностей, которые служили украшением различных его резиденций. Позднее, когда он сделался архиепископом Лиона и кардиналом, то сумел понять, какие обязанности налагают на него эти два сана, и в конце концов приобрел среди духовенства довольно почетную репутацию. Иногда, когда происходили столкновения с папой, он возражал императору и оказывал немалое сопротивление исполнению его желаний со времени неудачной попытки с церковным Парижским собором. Может быть, из-за политических мотивов, а может быть, по мотивам религиозным, он несколько противился разводу, по крайней мере Жозефина Бонапарт так думала. Далее я несколько подробнее остановлюсь на этом вопросе.

Жозеф Бонапарт

Жозеф, родившийся в 1768 году, красивый и благосклонный к женщинам, всегда отличался более мягкими манерами, чем все его братья, но, подобно им, также склонен был к фальши. Иногда он проявлял честолюбие; конечно, не так резко, как Наполеон, но ум его обыкновенно не оказывался на высоте тех положений, действительно трудных, в которые он бывал поставлен.

В 1805 году Бонапарт хотел сделать Жозефа королем Италии, при условии, чтобы он отрекся от прав на французский престол, но Жозеф отказался. Он обнаруживал всегда необыкновенную настойчивость в сохранении того, что считал своим правом. Ему казалось, что его призвание – дать отдохнуть французам от того вечного беспокойства, в которое вовлекала их деятельность брата. Ему лучше, чем Наполеону, удавалось достигать успеха мягкими средствами, но он не умел внушать доверия.

Жозеф был покладист в частной жизни, но так и не проявил способностей на тронах Неаполя и Испании. Правда, ему было дозволено царствовать только в качестве лейтенанта Наполеона. В обеих странах он не внушил ни уважения, ни вражды, которые относились бы лично к нему. Жена его, дочь марсельского негоцианта по фамилии Клари, была самым простым и добрейшим существом в мире. Некрасивая,

худая, застенчивая и молчаливая, она не играла никакой роли ни при дворе императора, ни тогда, когда ей пришлось носить одну за другой две короны, которые она потеряла, по всей вероятности, без сожаления. От этого брака родились две дочери. Вся семья устроилась теперь в Северной Америке.

Сестра жены Жозефа вышла замуж за генерала Бернадотта, ныне короля Швеции.

В ее характере была некоторая оригинальность; до своего замужества она была охвачена очень сильным чувством по отношению к Наполеону, о котором, кажется, сохранила воспоминание на всю жизнь. Предполагают, что остаток этой не вполне погасшей страсти был причиной ее упорного отказа покинуть Францию. Сейчас она живет в Париже, совершенно инкогнито.

Люсьен Бонапарт

Люсьен Бонапарт был очень умен. У него рано развилась любовь к искусствам и известной литературе. Когда он был депутатом от Корсики, некоторые речи его в Совете пяти-сот обратили на себя внимание; между прочими речь, произнесенная 22 сентября 1798 года, в годовщину установления республики. Он провозгласил в ней пожелание, какое должен был сделать каждый из членов собрания, – сохранить основы конституции и свободу, – и произнес жестокую ана-

фему всякому французу, который попытается восстановить монархию.

Генерал Журдан выразил тогда некоторые опасения по поводу распространившихся слухов о том, что Совету в скором времени угрожает переворот. Люсьен напомнил, что существует декрет, объявляющий вне закона всякого, кто осмелится нарушить неприкосновенность народного представительства. Тем не менее очень вероятно, что, уговорившись с братом, он выжидал момент, когда они могли бы заложить основы для возвышения своей семьи. У Люсьена были некоторые конституционные идеи, и, быть может, если бы он сохранил свое влияние на брата, то помешал бы безграничному росту произвола последнего.

Между тем ему удалось доставить Наполеону в Египет вести о положении дел во Франции и ускорить его возвращение. Он также много помогал ему, как всем известно, в перевороте 18-го брюмера 1799 года. С этого времени Люсьен становится сначала министром внутренних дел, затем посланником в Испании и повсюду является предметом подозрений Первого консула. Бонапарт не любил воспоминаний об услугах, оказанных ему, а Люсьен имел обыкновение с раздражением напоминать о них в их частых ссорах.

Во время пребывания в Испании он близко сошелся с князем Мира¹⁴ и участвовал в Бадахосском трактате, который

¹⁴ По фамилии Год ой, который пользовался влиянием на испанского короля Карла IV.

на этот раз спас Португалию от вторжения. Люсьен Бонапарт получил в награду значительные суммы денег и бриллианты, которые оценены в 500 миллионов. У него возник проект женить Наполеона на испанской инфанте, но Наполеон, из любви к жене или боясь подозрений со стороны республиканцев, которых еще щадил, отверг эту идею.

В 1790 году Люсьен женился на дочери трактирщика, которая подарила ему двух дочерей и через несколько лет умерла. Старшая из этих дочерей позднее была призвана во Францию императором. Увидев, что дела в Испании идут плохо, император хотел заключить мир с наследником престола принцем Астурии и женить его на старшей дочери Люсьена. Но Шарлотта, живя у бабушки, слишком откровенно написала отцу о впечатлениях, полученных ею при дворе дяди. Она насмеялась над самыми видными лицами; письма ее были распечатаны, и разгневанный император отослал ее в Италию.

В 1803 году Люсьен, овдовевший и предававшийся ухаживаниям, которые могли бы быть названы и несколько иначе, влюбился в мадам Жубертон, жену биржевого маклера, который был послан в Сан-Доминго, где и умер. Мадам Жубертон, красивая и ловкая женщина, сумела женить на себе Люсьена, несмотря на протесты Первого консула. Тогда несогласие двух братьев превратилось в полный разрыв, и Люсьен покинул Францию весной 1804 года. Он поселился в Риме.

Известно, что он сумел войти в интересы папы и ловко снискать его покровительство, и все это так удачно, что, уже после того, как он был призван во Францию во время роковой попытки 1815 года и после вторичного возвращения короля, Люсьен опять приехал в Папскую область и мог спокойно устроиться с частью своей семьи.

Луи Бонапарт

Луи Бонапарт, родившийся в 1778 году, — человек, о котором сложились самые разнообразные мнения. Какое-то лицемерие, чтобы казаться добродетельным человеком, и странные взгляды, опирающиеся, однако, скорее на случайные теории, чем на стойкие принципы, вводили многих в заблуждение и создали ему иную репутацию, чем его братьям.

По уму он был гораздо ниже Наполеона и Люсьена, в его воображении всегда присутствовало что-то романическое, что он умел, однако, соединить с полной сухостью сердца. Всегдашняя болезненность омрачила его юность и усилила острую тоску, к которой Луи был склонен по характеру.

Я не знаю, развилось бы в нем честолюбие, свойственное всей его семье, если б он был предоставлен самому себе, но во многих случаях он не упускал возможности воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Известно, что ему хотелось управлять Голландией в интересах страны, наперекор желаниям брата, и его отречение,

скорее по капризу, чем из великодушия, все же делало ему честь. В сущности, это был лучший поступок его жизни.

Бонапарт однажды сказал о нем: «Его притворные добродетели создают мне столько же затруднений, сколько и пороки Люсьена». После падения семьи Луи удалился в Рим.

Луи Бонапарт был по натуре эгоистом и человеком подозрительным. Продолжение этих мемуаров лучше познакомит с ним читателя.

Жозефина Бонапарт и ее семья

Маркиз Богарне, отец генерала Богарне, первого мужа госпожи Бонапарт, занимал военную должность на Мартинике. Там он влюбился в тетку госпожи Бонапарт, с которой возвратился во Францию и на которой женился в старости. Эта тетка вызвала во Францию свою племянницу, Жозефину де ля Пажери. Она воспитала ее и, воспользовавшись своим влиянием на старого мужа, пятнадцати лет выдала замуж за своего пасынка, молодого Богарне. Он женился против воли, однако, надо думать, все же испытывал некоторую привязанность к жене: мне приходилось читать очень нежные письма, которые он писал ей из гарнизона и которые она тщательно хранила.

От этого брака родились Евгений и Гортензия. Когда началась революция, по-видимому, чувства супругов уже охладели. В начале террора Богарне командовал французской ар-

мией; все отношения с женой были уже прерваны.

Я не знаю, какие обстоятельства связали ее с некоторыми членами Конвента, но она пользовалась среди них известным влиянием, а так как была добра и любезна, то старалась оказывать услуги, насколько это было в ее власти. С этих пор репутация Жозефины была сильно скомпрометирована, но никто не оспаривал ее доброты, изящества и мягкости манер.

Несколько раз она оказала услуги моему отцу перед Баррасом и Тальеном, влиятельными членами левого крыла Конвента, и это сблизило ее с моей матерью. В 1793 году она случайно поселилась в деревне в окрестностях Парижа, где наша семья проводила лето. Это деревенское соседство привело к еще большему сближению. Я помню, как юная Гортензия, которая была моложе меня на три или четыре года, приходила ко мне в гости; заходя в мою комнату, она забавлялась тем, что составляла инвентарь некоторых моих драгоценностей, и говорила, что ее честолюбие было бы вполне удовлетворено в будущем, если бы она обладала такими сокровищами. Эта несчастная женщина впоследствии была обременена и украшениями, и бриллиантами, и как же страдала она под тяжестью алмазной диадемы, готовой, казалось, раздавить ее!

В те времена, когда каждый должен был искать убежища, чтобы избежать преследований, мы потеряли из виду господу Богарне. Муж ее, возбуждивший подозрения якобинцев,

был заключен в тюрьму в Париже и приговорен революционным трибуналом к смертной казни. Госпожа Богарне, также попавшая в тюрьму, избежала секиры, поражавшей всех без различия. Связанная дружбой с красавицей Тальен, она была принята в общество Директории и находилась под особым покровительством Барраса.

Госпожа Богарне не была состоятельна, а любовь к туалетам и роскоши ставила ее в зависимость от тех, кто мог ей помочь. Хотя она не может быть названа красивой, но во всем ее существе присутствовало какое-то своеобразное очарование. Черты лица ее были тонки и гармоничны, во взгляде было много мягкости; маленький рот хорошо скрывал плохие зубы; цвет лица, несколько смуглый, неясно скрывали румяна и белила, фигура была безукоризненна, все члены гибки и нежны; все ее движения были непринужденны и изящны. К ней вполне применим стих Лафонтена: «Грация, которая прекраснее красоты».

Она одевалась с необыкновенным вкусом: все, что она носила, выигрывало на ней. Благодаря этим преимуществам и изысканности костюма, ее никогда не могли затмить ни красота, ни молодость многих женщин, ее окружавших.

Ко всему этому надо добавить, как я уже говорила, ее необыкновенную доброту, доброжелательность и способность забывать зло, которое ей желали причинить. Жозефина не обладала выдающимся умом. Креолка и притом кокетка, она получила плохое воспитание; сознавала, чего ей

недостает, и никогда не выдавала в разговоре недостатка своего образования. У нее был довольно тонкий врожденный такт, ей легко удавалось говорить людям то, что нравилось; она обладала хорошей памятью — полезным качеством для лиц высокопоставленных.

К несчастью, ей не доставало серьезности в чувствах и возвышенности души. Она предпочитала влиять на мужа больше своей прелестью, чем добродетелью. В своей снисходительности к нему она доходила до крайности и только благодаря ей сохраняла свое влияние; но эта же снисходительность способствовала укреплению в нем презрения к женщинам. Иногда Жозефина могла бы дать ему полезный урок, но она боялась его и, напротив, сама находилась под его влиянием. Притом же она была легкомысленна, изменчива, склонна легко волноваться и легко успокаиваться, неспособна на глубокие чувства, на сосредоточенное внимание или серьезное размышление; если величие не вскружило ей голову, то ничему и не научило. Натура влекла ее к тому, чтобы утешать несчастных, но она обращала внимание только на страдания частных лиц и никогда не думала о страданиях Франции.

Ей весьма импонировал гений Бонапарта: если она и осуждала его, то только в том, что касалось ее лично, а во всем остальном уважала то, что он сам называл своей судьбой. Он оказал на Жозефину пагубное влияние, так как внушил ей презрение к известной морали, довольно большую

подозрительность и привычку ко лжи, к которой оба они искусно прибегали.

Говорили, что она стала наградой за командование Итальянской армией; госпожа Богарне уверяла меня, что в то время Бонапарт был действительно влюблен в нее. Она колебалась, кого выбрать: Бонапарта, генерала Гоша или Коленкура, который также любил ее. Превосходство Бонапарта увлекло ее. Я знаю, что моя мать, жившая тогда в деревне, удивилась, что вдова генерала Богарне вышла замуж за человека, так мало известного.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.